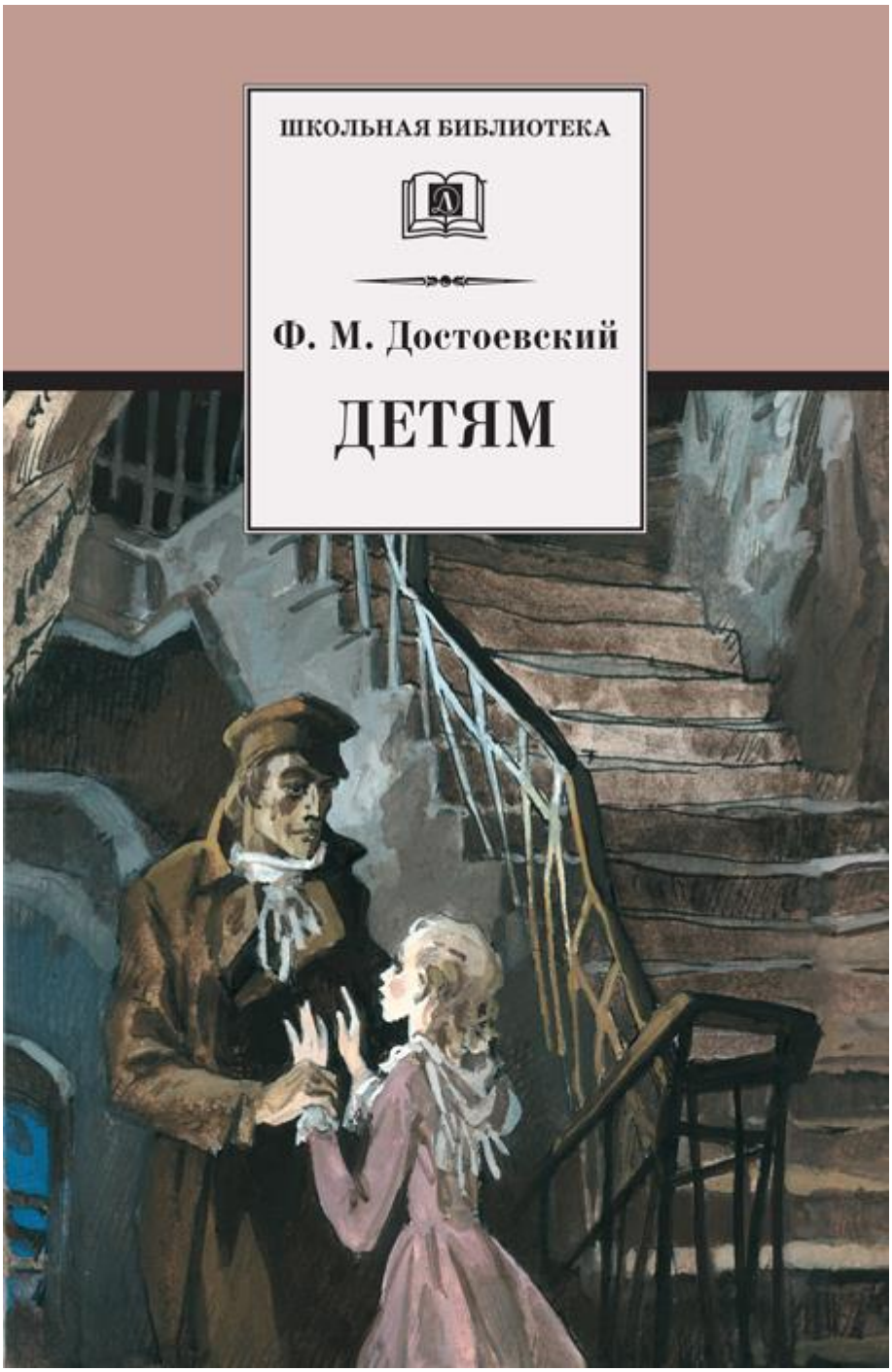
Федор Михайлович Достоевский, Карен Ашотович Степанян
Детям (сборник)

Школьная библиотека (Детская литература) –



Текст предоставлен правообладателем. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7936468
«Достоевский Ф. М. Детям : сборник отрывков из повестей и романов»: Детская литература; Москва; 2010
ISBN 978-5-08-004526-4

Аннотация

В сборник вошли отрывки и отдельные главы из произведений великого русского писателя Ф. М. Достоевского.

Для среднего школьного возраста.

Ф. М. Достоевский
Детям (сборник отрывков из повестей и романов)

© Степанян К., вступительная статья, комментарии, 2000
© Панов В., наследники, портрет автора и рисунок на обложке, 2000
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2002

Федор Михайлович Достоевский и мы

Чтение этой книги – лишь первый шаг на пути к Достоевскому. Прочесть и пережить хотя бы главные произведения этого писателя – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Записки из подполья», речь о Пушкине – нужно каждому человеку. И не только потому, что без этого нельзя называться культурным человеком, гораздо важнее то, что без этого невозможно понять жизнь, людей вокруг и себя самого. Можно, конечно, прожить и так, как говорится, в спокойном незнании, но это обманчивое спокойствие: вы будете нестись в потоке жизни и чем дальше, тем чаще с тревогой спрашивать себя: где же это я, что я тут делаю и что ждет меня потом?

Понять жизнь нам помогают Библия и другие священные книги человечества, помогают

Пушкин, Лев Толстой, многие писатели и мыслители прошлого и современности. Голос Достоевского также очень нужен и важен.

Жизнь сложна, трудна и полна испытаний, но одновременно она светла и радостна, ибо в ней есть любовь и добро, счастье помощи ближнему и одоления зла в самом себе, вечная жизнь души и бесконечное милосердие Божие. Достоевский ничему не учит «сверху вниз» – он показывает: вот добро и вот зло, выбирай, ибо каждый человек свободен. Старайся быть честным перед своей совестью, не оправдывай себя, ибо дурные мысли и желания столь же (а порой и более) опасны, как и поступки.

Читать Достоевского надо медленно, как бы тяжело это поначалу ни было. Тяжело не потому, что Достоевский, как принято думать, мрачный писатель, хотя по прочтении некоторых из собранных в этой книге отрывков может сложиться именно такое впечатление. Но это все-таки в основном отдельные части больших произведений, причем части, где речь главным образом идет о детях. Переживания детей, их трудности и беды всегда очень волновали Достоевского, и он стремился к тому, чтобы они так же взволновали и заставили сопереживать его читателей. И этого не надо бояться и не надо пропускать или быстро пробегать такие страницы: точно так же, как мы учимся жить среди людей, усваиваем правила поведения и воспитываем силу воли, мы должны воспитывать и свои чувства, а нет лучшей школы воспитания чувств, чем сопереживание другим людям.

На самом деле Достоевский очень оптимистический и внушающий бодрость духа писатель, ибо в его произведениях всегда виден свет и пути выхода из самых сложных ситуаций. Об этом мы еще поговорим. Но в этой книге в основном собраны отрывки и маленькие рассказы, описывающие страдания героев от материальной бедности (материальной, потому что есть еще душевная, и она гораздо страшнее). Порой кажется, что невозможно читать, разрывается сердце, когда вживаешься в муки маленькой Нелли или семейства Ильюши Снегирева. Но эта боль лечит сердце. Ведь, к сожалению, бедности и нищеты много и вокруг нас в повседневной жизни, и, пройдя воспитание Достоевским, мы сможем лучше понять, сколько мук душевных, а не только физических – холода, голода – испытывает бедный человек, как страдает его гордость, когда он вынужден просить, как мучительно для него неравенство (особенно если это ребенок) с такими же вроде бы детьми, как он, но только имеющими богатых родителей, и как невыносима для бедных родителей невозможность накормить, одеть, вылечить любимого сына или дочь.

Достоевский вовсе не сентиментальный автор: он не призывает нас жалеть любого бедного только потому, что он бедный. Писатель понимает: порой бывает так, что в бедности своей и своего семейства повинен сам человек. Но чужая вина не освобождает нас ни от чего: наша вина, если мы не помогли страдающему ближнему, все равно будет нашей виной. Если мы увидим висящего на краю пропасти человека, мы протянем ему руку и поможем выбраться и только потом спросим, как он туда попал (а если не поможем, совесть будет мучить нас всю жизнь). Но очень часто человек оказывается беден вовсе не потому, что он глуп, любит выпить или ленив; бывает, что, раз потерпев в жизни неудачу, он уже не может поправить свои дела. Нередко причиной бедности бывает болезнь – своя или близких, – предательство друзей и еще очень многое.

Но помимо равнодушия или, того хуже, презрения к бедным есть и другая опасность, другая крайность, и о ней тоже предупреждает Достоевский. Когда мы читаем о таких страданиях или тем более видим их в жизни, в нас вместе с сочувствием и состраданием нередко рождается и протест: далее такое положение терпеть невозможно, надо сейчас же все исправить. И обязательно надо помочь, но только очень осторожно и бережно. Бедные люди, показывает нам Достоевский, очень ранимы, их может страшно обидеть любое обращение «свысока», позиция «благодетеля», который «снисходит» до них. Всегда можно помочь заботой, сочувствием, просто добрым словом. Но вот чего не следует делать – так это решать, что этим конкретным людям помогать нет смысла, следует лишь переделать весь мир по справедливости: отнять лишнее у богатых, отдать бедным, чтобы у всех было поровну. Люди все разные, и что такое «по справедливости», никто точно не знает. Очень часто такое желание – «переделать мир» – есть проявление скрытого желания самому выделиться, стать лидером, героем.

По-настоящему добрый и совестливый человек никогда не позволит себе пользоваться богатством, не делясь с бедными, не помогая им. Но насильно сделать других добрыми нельзя, можно только поступать по добру и совести самому. И, быть может, ваш пример научит еще кого-то. Любой иной путь только увеличит зло в мире.

Все это – и не только, конечно, это – помогает нам узнать и понять книги Достоевского.

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября по новому стилю) 1821 года в Москве, в семье небогатого врача Мариинской больницы на Божедомке (ныне улица Достоевского. Больница и сейчас находится там, а в одном из ее флигелей – музей-квартира Достоевского). Федор был вторым по старшинству, а всего в семье было восемь детей. Жили очень скромно, но тем не менее родители старались дать детям достойное образование, сами занимались с ними, по вечерам устраивались домашние чтения: родители и старшие дети читали по очереди вслух, а младшие слушали. Читали Державина, Жуковского, Карамзина, исторические романы – «Ледяной дом» Лажечникова, «Юрий Милославский» Загоскина. Много читали и сами дети. К семнадцати годам Достоевский уже прочел Пушкина (которого «почти всего знал наизусть»), Державина, Лермонтова, Бальзака, Шиллера, Гюго, Гофмана, Шекспира, Гёте, Купера, Паскаля, В. Скотта.

Нельзя сказать, что жизнь будущий писатель узнавал только по книгам. Они со старшим братом Михаилом учились в частной школе. У Достоевских было маленькое имение Даровое в Тульской губернии, летом семья уезжала туда, мальчики иногда помогали работавшим крестьянам. Но то, что великий и таинственный мир подлинной литературы очень повлиял на его становление в детстве и юности, – бесспорно. «Без святого и драгоценного, без зачатков положительного и прекрасного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек, – писал он впоследствии. – Самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства».

В мае 1837 года отец везет Федора и Михаила в Санкт-Петербург для поступления в Главное инженерное военное училище. Федор выдерживает приемные экзамены и поступает, а брата Михаила не допускают к экзаменам по состоянию здоровья. Отец и брат вскоре уезжают, и Достоевский остается в столице один. Друзей среди соучеников по училищу у него почти не было, и большую часть свободного времени он проводил в чтении, тогда же начал писать сам. И хотя после окончания училища в 1843 году он был зачислен в Главное инженерное управление и можно было дальше продвигаться по службе, а после смерти отца (1839) средств к существованию не оставалось почти никаких, Достоевский подает в 1844 году в отставку и отныне навсегда посвящает себя писательскому труду. Почти два года он работает над своим первым романом «Бедные люди», который сразу приносит ему громкий успех: и литературные критики, и читатели сходятся во мнении, что в России появился новый замечательный писатель.

Роман «Бедные люди» довольно необычен по форме. Это несколько десятков писем, которые пишут друг другу бедный чиновник Макар Девушкин и его дальняя родственница Варенька Доброселова, оставшаяся сиротой после смерти родителей и кое-как зарабатывающая на жизнь шитьем. Они живут почти рядом, в одном из мрачных районов Петербурга, но видятся по разным причинам мало и редко, общаются в основном с помощью писем. Вы прочтете отрывок из этого романа – воспоминания Вареньки о своем счастливом детстве в деревне, о приезде с родителями в столицу и пережитых ими там испытаниях, о дружбе со студентом Покровским и его несчастным отцом, о смерти Покровского. Но это все, как принято говорить, предыстория. Действие же повести начинается с того, что Варенька, лишившись отца, а через некоторое время и матери и уйдя от расчетливой «благодетельницы» Анны Федоровны, поселяется вместе с преданной ей служанкой Федорой в маленькой комнате, в доме, расположенном напротив того, где снимает угол на кухне Макар Девушкин.

Скромный и робкий Макар всем сердцем любит Вареньку, но не решается не то что ей – даже себе в этом признаться. Он очень хочет помочь Вареньке, но его скудных средств хватает только на то, чтобы иногда послать ей кулечек конфет или букетик фиалок. Варенька ценит его любовь и заботу, но настоящей опорой в жизни он ей быть не может, ибо живет больше в мечтах, чем в реальности. Когда вновь появляется богатый помещик Быков, «заметивший» Вареньку еще в пору их с матерью жизни у Анны Федоровны, и сватается к ней, Варенька с

отчаянием (она не любит Быкова, он намного старше ее) спрашивает у Макара в очередном письме: что делать? Но тот даже не слышит ее: он вроде бы нашел хорошую работу, которая когда-нибудь сумеет обеспечить их с Варенькой будущность. Варенька уезжает с Быковым, а мир Макара рушится…

Уже в этом, самом первом своем произведении Достоевский показывает, что, конечно, бедность очень тяжела для людей, но самая главная их беда в том, что они часто не могут услышать друг друга, по-настоящему понять чужую боль и печаль, нередко создавая в своем воображении вместо реального человека его вымышленный образ. Но большинство читателей того времени увидели в романе лишь очень талантливое изображение жизни бедняков и протест против разделения общества на богатых и бедных.

В своем втором произведении – повести «Двойник» – Достоевский пошел еще дальше по пути постижения «тайны человека» (именно так он определил основную свою задачу еще в ранней молодости). Герой этой повести – тоже чиновник, Голядкин. Он немного побогаче Девушкина, а главное – мечты у него совсем другие: удачно продвинуться по службе и жениться на дочери начальника. Но вот беда: Голядкин столь же робок, как и Девушкин, а вдобавок еще и эгоист, поэтому, если Макар ради счастья Вареньки готов на смелые для своего положения (пусть и безрезультатные) поступки, то Голядкин только мечтает о жизненных успехах и злится на окружающих.

И вот ему – в бреду или наяву, это так до конца и останется неясным – является двойник, такой же, как он сам, чиновник Голядкин («первый» Голядкин называет его «младшим»).

Голядкин-младший успешно, с нахальством и напором, осуществляет все то, о чем мечтал «старший», – и именно теми методами, на которые тот не решался, но одновременно вытесняет из жизни и самого Голядкина-старшего. Все кончается безумием «старшего», и мы так и не узнаем: то ли Голядкин давно уже сошел с ума и все это ему примерещилось, то ли… Но ведь дело не в этом. Главное, о чем хотел сказать здесь Достоевский, – не надо думать, что наши мысли и желания, казалось бы тайные и никому не известные, безвредны и безопасны. Пожелав, даже только в своем сознании, чего-то злого и нехорошего, мы уже впускаем это в жизнь, и дальше оно начинает действовать самостоятельно, выйдя из-под нашего контроля.

Повесть «Двойник», однако, была не понята современниками. А когда Достоевский вслед за тем написал еще более таинственную, мрачную и до сих пор еще до конца не разгаданную повесть «Хозяйка», многие вообще заговорили о том, что талант его был мнимым и большого писателя из него не получится. Достоевский очень переживал все это, но писательский труд не оставлял. В 1848 году он пишет повесть «Неточка Незванова» – рассказ о судьбе музыканта Ефимова, наделенного великим талантом, но обратившего этот талант не на благо, а во зло людям, и его падчерице Неточке, чей дар любви словно обжигает всех вокруг (рассказ о ее болезненно-напряженных отношениях с подругой Катей вы прочтете в этой книге).

Но Достоевский никогда не замыкался только на писательстве – он переживал в своем сердце и в сознании все то, что переживала Россия его времени. Вернее, само писательство было для него немыслимо без этого. А в те годы, сороковые годы XIX века, в России, да и во всей Европе очень популярны были научные теории переустройства общества. Многим казалось, что люди страдают, мучаются и совершают зло, потому что общество устроено несправедливо, неправильно. Стоит лишь найти правильную «формулу» такого устройства – чтобы все жили вместе, у всех было общее имущество, все поровну работали и по справедливости делили заработанное, – и наступит рай на земле, зло исчезнет, и все станут добрыми и хорошими.

На вопрос: как добиться этого? – отвечали по-разному. Некоторые предполагали, что методом наглядного примера, – и устраивали общие поселения, где пытались организовать жизнь именно таким образом. Другие считали, что этот путь слишком долгий, и выбирали покороче – революцию. Революции происходили во Франции и в других странах, в те годы был написан «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Мыслящие люди в России, особенно молодежь, сходились в различные кружки, объединения и тайные общества для обсуждения новых революционных теорий и планов преобразования России (в России еще существовало крепостное право).

Одним из таких обществ было общество, собиравшееся под руководством М. В.

Буташевича-Петрашевского, юриста и общественного деятеля. Входил в него и Достоевский. Общество просуществовало недолго. По доносу засланного в их ряды агента в ночь на 23 апреля 1848 года почти все петрашевцы были арестованы на своих квартирах и заключены в Петропавловскую крепость. Потом последовали следствие и суд, который приговорил их всех к смертной казни. Но высший военный суд, а затем и император Николай I смягчили приговор и назначили каждому из осужденных различные сроки каторжных работ (Достоевскому – четыре года). Однако, чтобы дать петрашевцам почувствовать всю тяжесть свершенного, решено было провести подготовку к расстрелу, а затем уже объявить об его отмене. Так и было сделано. Осужденных вывели на площадь, провели все необходимые приготовления, распределили по тройкам (в таком порядке их должны были расстреливать). Первую тройку подвели и привязали к столбам, солдаты подняли ружья… Достоевский оказался во второй тройке, и жить ему, следовательно, оставалось не более двух-трех минут. Он успел передумать многое, вспомнил брата Михаила, родных… Тут загремели барабаны, и подъехавший офицер объявил об отмене казни и зачитал настоящие приговоры.

В тот же день вечером Достоевский пишет из тюрьмы письмо брату. Он понимает, что прежняя жизнь закончилась, наступает какая-то новая. Несмотря на предстоящие испытания, он не падает духом: «Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее».

На каторгу петрашевцев везли через всю Россию, везли долго, на санях, запряженных лошадьми (поезда между Москвой и Петербургом еще только-только начинали ходить). В сибирских городах тогда жили семьи декабристов – участников восстания 1825 года, после подавления восстания сосланных в Сибирь на длительные сроки. Жены и невесты некоторых из них поехали добровольно вслед за своими любимыми. Эти замечательные женщины, поселившись в тех же местах, где отбывали срок их мужья, не только помогали им, чем могли, но также заботились о других ссыльных и заключенных. В городе Тобольске они встретили и следовавших в Омский каторжный острог Достоевского с друзьями, снабдили их теплой одеждой, необходимыми вещами и подарили каждому Евангелие.

В начале 1850 года Достоевского привезли в Омск, и начались его долгие каторжные четыре года. В «Записках из Мертвого дома» (Мертвым домом называли каторгу) Достоевский от лица вымышленного повествователя Горянчикова описал свою жизнь на каторге. Каторга тех времен, конечно, была несравнима с ужасными лагерями и тюрьмами XX века, но все-таки существование там было очень тяжелым, особенно для недавнего столичного жителя. Жизнь в бараках по сорок – пятьдесят человек, среди воров, бандитов и убийц.

Дворян, осужденных за политические преступления, так называемых политических, было очень мало, да и в основном это были поляки, воевавшие против России за свою независимость (Польша тогда входила в состав Российской империи). Отношения у них с Достоевским были враждебные. Среди каторжников встречались, конечно, и добрые, хорошие люди (их Достоевский замечательно описал в «Записках…»), но в основном это были люди мрачные и жестокие, со злобой и недоверием относившиеся к «господам», таким, как Достоевский. Грязь, вонь, теснота в темных и холодных бараках, изнурительные работы, невозможность хоть какое-то время в течение дня побыть одному, издевательства надзирателей и начальников, порой превосходивших по жестокости каторжан, – впору было ожесточиться и возненавидеть весь мир.

Но с Достоевским на каторге произошло совсем другое. Он понял, во-первых, что почти в каждом из окружавших его людей, если не смотреть на них со злобой и страхом, можно разглядеть образ Божий – то доброе, светлое начало, которое заложено в каждом человеке, но затемняется и заслоняется потом грехами, совершаемыми человеком в течение жизни, но совершаемыми добровольно. Если человек не безумен, он всегда может выбрать: украсть или не украсть, пьянствовать или не пьянствовать, убить или не убить. Притом, что с детства было известно: красть и убивать – страшный грех и лучше даже умереть самому, нежели совершить такой грех. А если считать, что человеком всецело управляют окружающие обстоятельства (теории о решающем влиянии среды были очень популярны), то он перестает быть человеком, становится чем-то вроде деревянной куклы в кукольном театре.

Достоевский все больше укрепляется в мысли, что «зло таится в человеке гораздо глубже, чем предполагают лекаря-социалисты» – то есть те, кто хочет «вылечить» людей от зла одними лишь изменениями общественных условий. Ведь в одних и тех же обстоятельствах один крадет и убивает, а другой нет, а иной раз человек убивает ближнего своего не из-за голода или бедности, или из зависти и жадности, или в ответ на угрозу или оскорбление, а просто так… И еще долго при любом общественном устройстве будет так, потому что человек изменяется очень медленно, и причины его поступков, основы человеческого сознания и душевной жизни невероятно сложны и непредсказуемы.

Однажды в далеком детстве маленького Федю Достоевского, игравшего летом в деревенской роще и до смерти напуганного почудившимся ему криком: «Волк бежит!», успокоил и приласкал работавший неподалеку крепостной мужик Марей. Достоевский на всю жизнь запомнил трогательное участие и заботливость простого мужика. И на каторге, глядя на жестокие и огрубевшие лица каторжников, он понял, что почти каждый из них мог в той, докаторжной, жизни оказаться таким же Мареем, потому что очень по-разному складывается порой у людей жизнь. Но помнить о добром начале, заложенном в каждом человеке, надо всегда, и тогда спасешь и себя от злобы и ненависти и, может быть, поможешь вернуться к добру своему ближнему.

На каторге Достоевский подолгу читал Евангелие – то самое, подаренное ему женами декабристов (впоследствии он не расставался с этим Евангелием всю жизнь). Здесь, на каторге, содержание и смысл этой книги открывались по-новому. Достоевский понял, что основа веры, основа отношений человека с Богом и людей между собой – любовь, милосердие и сострадание. Человека нельзя заставить быть добрым – только своей свободной волей отказавшись от зла, полюбив ближнего, можно изменить в лучшую сторону соотношение добра и зла в мире.

Отбыв все четыре года на каторге и выйдя на свободу, Достоевский еще не имел права вернуться ни в Санкт-Петербург, ни в Москву, ни вообще в европейскую часть России. Он был лишен всех званий, а потому надо было начинать службу простым солдатом, потом – унтер-офицером. Только спустя еще четыре года, после многократных обращений на имя верховных властей, хлопот друзей Достоевского в столице, он получает разрешение переехать сначала в Тверь, а потом и в Санкт-Петербург. За время службы в Сибири Достоевский женился на вдове местного чиновника Марии Дмитриевне Исаевой и теперь возвращался с женой и ее сыном от первого брака Пашей.

За время пребывания Достоевского в Сибири в жизни страны произошли важные перемены. Россия проиграла Крымскую войну. Стало ясно, что многое в экономике и общественном устройстве надо менять, новый император – Александр II – решил отменить крепостное право и провести ряд других важных реформ. Но решительно настроенная часть общества, возглавляемая Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым и другими революционными демократами, считала, что этого недостаточно – в России нужна революция. Конечно, будут жертвы, прольется кровь, но зато потом, по их мнению, наступит счастливая жизнь. В то же время усиливалась вера в достижения науки, которая действительно тогда очень быстро развивалась. У многих возникала иллюзия, что наука уже знает о человеке все, что поведение людей можно рассчитать «по табличке». А значит, можно построить и «правильное» общество, где человек будет счастлив. Все это не могло не волновать Достоевского, который за долгие годы испытаний и раздумий в Сибири познал совсем другую истину о человеке и понял, чем может закончиться претворение в жизнь «передовых» революционных теорий.

Вслед за «Записками из Мертвого дома», романом «Униженные и оскорбленные» он создает одно из самых сложных и трагических своих произведений – повесть «Записки из подполья». На примере ее героя он показывает, что человек никогда не станет жить «по табличке», какие бы блага такая жизнь ни обещала. Он совершит любой безумный и даже вредный для себя поступок, лишь бы заявить свою волю, ибо самое большое благо для человека – поступать по собственной свободной воле. Даже из «хрустального дворца» человек тут же убежит в «курятник», если ему скажут: «Ты *должен* жить во дворце». Но человек, живущий лишь для удовлетворения собственных желаний, тоже не будет счастлив, ибо разрушает мир вокруг себя. Только вера и любовь к людям наполняют жизнь подлинным смыслом и радостью.

В эти годы в личной жизни Достоевского произошли большие перемены. В 1864 году от

тяжелой болезни скончалась его жена М. Д. Исаева, а вскоре умер и его брат Михаил, наиболее близкий ему человек. Сам Достоевский тоже был очень болен, ему приходилось с большим трудом рассчитываться с долгами. Издаваемый им вместе с братом журнал оказался убыточным, и после смерти Михаила ему пришлось заботиться и о семье брата. Работал он много и тяжело, вновь и вновь влезая в долги, очень мучился от одиночества. Но в конце 1866 года он знакомится с молодой стенографисткой Анной Григорьевной Сниткиной, а спустя полгода женится на ней. Жизнь его несколько налаживается. От этого брака у Достоевского было четверо детей: Соня и Алеша умерли в раннем детстве, а Федор и Люба прожили до двадцатых годов XX века. Правнук и правнучка Достоевского и их дети сейчас живут в Санкт-Петербурге. Достоевский очень любил детей, и не только своих. Он относился к ним всегда с нежностью, но в то же время серьезно и с уважением. И всегда помнил слова Христа: если не станете как дети (то есть не станете так же чисты и ясны душой и умом), не войдете в Царствие Небесное.

В 1865–1866 годах Достоевский пишет первый из пяти своих великих романов, принесших ему мировую славу, – «Преступление и наказание». Герой его – студент Родион Раскольников, страдающий от собственной бедности, от невозможности помочь своим близким, матери и сестре, от нищенской жизни окружающих его людей, в частности, семьи пьяницы чиновника Мармеладова. А неподалеку от Раскольникова живет старуха-процентщица, дающая в долг деньги под залог ценных вещей. Она очень богата, но из дому почти не выходит, семьи у нее нет, единственную свою сестру, робкую и смирную Лизавету, заставляет работать на соседей.

Раскольникову это кажется ужасно несправедливым. Он решает убить «бесполезную и вредную» старуху, завладеть ее богатством и совершить на эти деньги много добрых дел: помочь родным и другим бедным людям, самому закончить курс в университете. Всеми этими добрыми и полезными делами, по его мнению, «загладится» преступление. Он совершает задуманное, чудом остается незамеченным, но выясняется, что в его расчетах была огромная *ошибка* . Во-первых, случилось так, что вслед за старухой-процентщицей он убивает неожиданно вернувшуюся в квартиру Лизавету. А придя в себя после убийства (несколько дней он был в горячечном бреду), понимает, что пролитая кровь навсегда отгородила его от обычных людей. Еще никто не догадывается, что он убийца, но он сам уже не может жить прежней жизнью, не может даже общаться с матерью и сестрой. Ту небольшую часть драгоценностей старухи, которую ему удалось захватить, убегая, он зарывает под камнем в одном из дворов и больше не вспоминает о них. Он пытается помочь семье раздавленного лошадью на улице Мармеладова из последних оставшихся у него денег, когда-то присланных матерью.

Но старшая дочь Мармеладова, Соня, к которой Раскольников приходит в надежде найти понимание и сочувствие, когда он признается ей в убийстве, ужасается при мысли о том, что деньги, данные Раскольниковым, могли быть из *тех* денег. Соня убеждает Раскольникова, что единственное спасение для него – признаться в убийстве, покаяться прилюдно перед всеми за свой грех и принять заслуженное наказание. Но Раскольников, хотя и понимает, что потерпел крах, думает еще, что его теория была верна, только он сам оказался слаб и не выдержал. А вот если бы он был по-настоящему великой личностью – каким был, по его мнению, Наполеон, – то не остановился бы ни перед какими жертвами на пути к цели. Здесь он прав, ведь если рассуждать так, как он, то есть что можно убить одного человека ради счастья нескольких, можно убить десять – ради счастья сотни, тысячу – ради миллиона, миллион – ради всего народа и человечества.

Все революционеры рассуждали именно так, но никто из них – так же, как и Наполеон, – никогда не приносил счастья людям, и не только, естественно, жертвам, но и тем, ради кого все вроде бы делалось. Во-первых, потому, что, однажды разрешив насилие, его уже невозможно остановить, и в результате к власти приходят не честные и благородные люди, а те, кто лучше умеет убивать. Во-вторых, потому, что не может быть настоящего и прочного счастья, построенного на крови и мучениях предыдущих поколений. Да и сами люди, если только они продолжают оставаться людьми, откажутся от такого «счастья». А те, кто выжил и не отказался, уже потеряли право называться людьми.

Людям не поможешь *по-настоящему* , отняв у одних и отдав другим, потому что эти

другие, не изменившись внутренне, вскоре вернутся в прежнее положение.

Предположим, дал бы Раскольников семье Мармеладовых «старухины» деньги – Мармеладов тут же украл бы и пропил их, как он это уже делал не раз (вот почему, несмотря на всю боль и горе, жена Мармеладова, указывая на умирающего мужа, обрекшего их в результате своей беспутной жизни на нищету и болезни, кричит священнику: «А это не грех?»).

В конце концов Раскольников хотя и не раскаивается еще по-настоящему, но, не видя другого выхода и не желая совершить еще более страшный грех – покончить с собой, приходит в полицию и признается в убийстве. Его судят и ссылают на каторгу. Соня отправляется вслед за ним. На каторге Раскольников тяжело заболевает, и в болезни ему снится сон: в людей на всей Земле вселяются некие бациллы, «трихины», и *каждый* начинает считать себя знающим, как надо устроить жизнь, каждый убежден в своей правоте. Начинается кошмар: люди убивают друг друга в попытках доказать свою правоту, ибо она ведь у каждого своя, главное, считают возможным делать это – они же правы… В ужасе Раскольников просыпается и понимает, это может произойти в реальности, если восторжествует его теория. Это понимание и родившаяся любовь к Соне позволяют ему наконец по-настоящему раскаяться и открывают возможность иной, новой жизни.

Второй роман Достоевского – «Идиот» – посвящен той же важной, главной для Достоевского проблеме: как человек может помочь другим людям, какими способами можно победить зло и в себе, и в мире. Герой этого романа, князь Мышкин, в черновиках назван Достоевским «князь Христос». Писатель хотел изобразить человека, максимально приближенного к идеалу, «положительно прекрасного», – человека, живущего и действующего в обычной жизни, среди обычных людей, у которых есть свои хорошие черты и есть плохие.

Князь Мышкин с детства страдал тяжелой болезнью мозга, лечился в Швейцарии и, вылечившись, в возрасте двадцати шести лет возвратился в Россию, в Петербург. В Швейцарии он жил очень уединенно и сумел сохранить чистоту души, доброту, бескорыстие, любовь и сострадание к людям. В России он сразу погружается в водоворот людских страстей и интересов и принимает это, искренне желая помочь людям, дать каждому то, в чем тот нуждается. И люди тянутся к нему, понимая, что Мышкин не похож на других. Даже те, кого он раздражает своей чистотой и наивностью и кто в лицо или за глаза называет его «идиотом», понимают, что князя действительно «Бог послал».

Но каждый считает, что Мышкина Бог послал именно к нему, хочет, чтобы князь помогал и заботился именно о нем, позабыв о других. А князь не может забыть о ком-то, не может пройти мимо чужого страдания. Но, во-первых, *всем* помочь может только Бог. И Достоевский показывает, что такое стремление Мышкина, как и всякое превышение человеком своих сил и возможностей, тоже по-своему опасно и разрушительно и для него, и для окружающих. Однако и Мышкин, может, сумел бы сделать больше, если б окружающие его люди старались бескорыстно помочь и ему, и друг другу.

Легче всего Мышкину с детьми: они лишены гордыни и постоянной заботы об отстаивании своих интересов. И дети – а также те из взрослых, кто сохранил в себе много детского, – тоже бескорыстно и сильнее всех привязаны к Мышкину. Но многие из окружающих его, напротив, упрекают князя в том, что он «как ребенок», что в нем «гордости нет». Они, наоборот, ставят в вину князю то, что тот помогает другим, мучают его своей ревностью. Это по-своему понятно. Ведь такому человеку доверяешь самое сокровенное, всего себя – и так хочется, чтобы он принадлежал только тебе. Поступить иначе, пренебречь своими интересами и нуждами ради другого – значит, в чем-то уподобиться ему, князю Мышкину, а на это способен далеко не каждый. Поэтому и сгущается вокруг князя Мышкина мрак мучений, ревности и страданий, гибнет красавица Настасья Филипповна, которую князь хотел спасти, навек покидает Мышкина и затем как-то нелепо устраивает свою судьбу полюбившая его Аглая. Рассудок князя не выдерживает, и он вновь погружается в безумие. «Идиот», пожалуй, самый таинственный и самый сложный роман Достоевского.

Интересно, что в черновиках к роману «Идиот» герой, который впоследствии превращается в князя Мышкина, был поначалу совсем другим: жестоким эгоистом, буйным и неистовым в своих прихотях и в то же время холодным циником. Такой характер Достоевский создал в романе «Бесы», написанном сразу вслед за «Идиотом». Это сын богатых помещиков,

умница и красавец Николай Ставрогин (что парадоксально, корень этой фамилии «ставрос» в переводе с греческого означает «крест»). В романе изображены возникавшие тогда в России революционные террористические организации, показана расправа членов одной такой организации, «пятерки», над своим бывшим товарищем, решившим выйти из ее рядов.

В «Бесах» предсказано многое из того, что произошло в нашей стране в XX веке, – революционный террор и беззаконные расправы, гибель множества невинных людей, отмена свободы слова и даже мысли, диктатура и неограниченная власть убийц и преступников над рядовыми участниками революционной борьбы. Предсказано так точно и так грозно, что многие современники Достоевского не поверили этому, считая писателя сумасшедшим. А в XX веке, когда все сбылось, роман «Бесы» был, понятно, самым ненавистным произведением для советской власти, и даже упоминать о нем долгое время было нельзя (как, впрочем, и сам Достоевский очень долго считался самым «враждебным» из русских классиков: в школах его не проходили, произведений не издавали). Но основной смысл романа «Бесы» все-таки не в обличении революционеров. Яркая и неординарная личность – Николай Ставрогин, который становится лидером везде, где бы он ни появлялся, ведь влияние его на людей безгранично, страдает безверием. Долгие годы своевольного удовлетворения своих желаний и эгоизма опустошили его душу, сделали рабом зла. И через него зло проникает в окружающий мир, в других людей, как бы увеличивая те грехи, что уже есть в каждом, – жадность и агрессивность у одних, отчаяние у других, безудержную тягу к власти у третьих. Ставрогин ответствен за них, ибо кому многое дано, с того многое и спросится. В конце концов и сам Ставрогин не выдерживает отчаяния и безверия и кончает жизнь самоубийством, тем самым как бы окончательно предав себя самого и тех, кто верил ему.

Но в те годы – 70 – 80-е годы XIX века, – когда в России начинал развиваться капитализм, очень опасными для душевного состояния народа были не только «бесы» – соблазны революционного насилия, но и «бесы» денежного обогащения, безграничной власти денег. Идеи обогащения тоже приобрели некий сказочный оттенок. Казалось, деньги, большие деньги, способны дать власть над всем миром, судьбы быстро разбогатевших западных банкиров – вроде Ротшильда во Франции, – пробившихся из бедняков в богачей мирового уровня, ослепили воображение даже благородных людей.

Именно судьба такого человека, юноши, даже еще подростка, Аркадия Долгорукова, лежит в основе романа Достоевского «Подросток», написанного после «Идиота» и «Бесов». Аркадий, незаконный сын богатого помещика Версилова и крестьянки Софьи, с детства был определен отцом для жизни и обучения в специальное закрытое учебное заведение для богатых детей, где постоянно испытывал чувство унижения от того, что он не такой, как все. И вот в его уме рождается идея: собрать упорным трудом накопительства большое состояние, получить тем самым безграничную власть над людьми, удовлетворить свое настрадавшееся за годы детства честолюбие, а потом раздать все людям и гордо удалиться «в пустыню». Достоевский, как и в романе «Преступление и наказание», показывает, что желание облагодетельствовать людей и стремление возвыситься, утвердить свою власть над ними очень часто соседствуют в одном сознании и второе нередко, к сожалению, оказывается главным.

В конце концов Подросток убеждается: можно либо жить по-человечески, любить людей и заботиться о них, либо копить и зарабатывать свой капитал, губя собственную душу. Аркадий не может себя заставить не сострадать ближним, не переживать происходящее вокруг, и потому, к счастью, никакого накопителя из него не выходит. Он находит своего отца, Версилова, человека «ставрогинского» типа, мучающегося борьбой веры и безверия. Сначала он подпадает под его влияние, но потом обретает свой голос и собственную позицию в спорах с ним, помогает воссоединению своей семьи – отца, матери и сестры Лизы.

Очень важное значение имела для Подростка встреча со старцем (так называли людей, странствующих по стране, живущих подаянием и часто передававших собранные деньги какому-либо монастырю или храму) Макаром Долгоруким. Макар, искренно и *радостно* верующий человек, преображает представления Подростка о жизни, показывает ему возможности совсем по-другому помогать людям. С Подростком происходит еще много приключений, и в итоге перед ним открывается путь, совсем не похожий на «ротшильдовский»…

Последним, итоговым произведением Достоевского стал роман «Братья Карамазовы».

Но сначала надо сказать о таком удивительном создании Достоевского, как «Дневник писателя». Достоевскому всегда было очень важно разговаривать со своими читателями напрямую, делиться с ними мыслями по поводу происходящего в России и в мире, получать от них письма, узнавать, как живут и о чем думают люди. Он понимал, что Россия в то время – как и сейчас – переживала очень важный момент в своей истории, и от того, каким будет душевное состояние людей, зависит очень многое. И вот начиная с 1873 года он в газете «Гражданин», где тогда работал, заводит новый постоянный раздел – «Дневник писателя», где публикует свои выступления по самым важным политическим, общественным и культурным событиям, происходившим в то время в стране и в мире, – своеобразный «открытый дневник».

Затем Достоевский начинает выпускать «Дневник писателя» отдельными выпусками в виде небольшого журнала, выходившего примерно раз в месяц. Сюда входили не только статьи и очерки, но и небольшие художественные произведения – маленькие рассказы и повести. Такой рассказ – «Мальчик у Христа на елке» – вы прочитаете в этой книге (в «Дневнике писателя» было напечатано и воспоминание о мужике Марее).

В основе рассказа «Мальчик у Христа на елке» лежит стихотворение немецкого поэта Фридриха Рюккерта «Елка сироты», где говорится о том, как в вечер накануне Рождества мальчик-сирота бегает в отчаянии по улицам: везде елки, тепло, радость, а его нигде не принимают. Он обращается к Христу, и Христос спускается к нему со словами: «Я никогда не забуду о тебе, даже если все остальные забыли». Ангелы забирают мальчика на Небо, к сияющей елке, к Христу. Но у Достоевского так точно описаны страдания именно петербургского нищего ребенка, что даже мы сейчас, через сто с лишним лет, будто видим его и мучаемся вместе с ним. Да, таких несчастных детей Бог никогда не забывает и дарует им счастье на Небе, но здесь, на земле, их муки – на совести *каждого* из нас, каждого, кто прошел мимо, кто не принял такого мальчика в свой дом, не отогрел его. Сам мальчик даже перед смертью думает о других – о своей матери, о таких же, как он, страдающих мальчиках и девочках.

Рассказ «Мальчик у Христа на елке», вместе с «Мужиком Мареем», сам Достоевский ценил больше всех остальных художественных произведений, напечатанных в «Дневнике писателя». «Мальчика…» он часто читал на литературных вечерах для детей или на благотворительных чтениях, где собирались деньги для помощи бедным детям.

Романы Достоевского и «Дневник писателя» принесли ему большую известность и любовь читателей во всей России. Он получал сотни писем из больших и маленьких городов, отвечал на них, с ним делились своими мыслями и пожилые, и очень молодые люди, у него спрашивали совета. Были случаи, когда к нему заходили с улицы незнакомые люди, чтобы узнать мнение писателя по тому или иному вопросу. Это, как он сам говорил, братское общение со всей Россией очень помогло ему при создании «Братьев Карамазовых»: в содержании этого романа сосредоточены все важнейшие проблемы российской жизни того времени.

Главный герой романа – Алеша Карамазов, с ранних лет искренне поверивший в Бога и ушедший в монастырь, с намерением остаться там навсегда и стать монахом. Но его духовный учитель, старец Зосима, видя, что у Алеши по-настоящему чистое сердце, светлая душа и крепкая воля, что он умеет общаться с самыми разными людьми, считает: он гораздо нужнее будет за пределами монастыря, он сможет помочь и своим близким, и окружающим людям, живя, как говорится, «в миру» (то есть не монашеской уединенной, а обычной жизнью). Старец отправляет его «в мир».

Достоевский планировал написать две части романа, но успел закончить только первую, в которой отражена лишь молодость Алеши. Главная его деятельность должна была развернуться во второй части. Но и написанная первая часть – это огромный и сложный мир, содержащий множество глубоких идей и «вечных вопросов». Их называют «вечными», потому что они волновали и мучили людей и сто, и тысячу, и две тысячи лет назад и будут мучить еще долго. Есть ли Бог, и если есть, как Он допускает, чтобы на земле творилось так много зла; свободен ли человек в своих поступках, и если да, то хорошо ли это, – или только немногим избранным полагалось бы даровать свободу, а для остальных лучше было бы полное подчинение; в чем счастье – в хлебе, то есть в материальном достатке, или в духовном совершенстве, и что для

человека главнее; как победить зло на земле и в себе самом; виноват ли человек, не сделавший ничего дурного, а только пожелавший это; почему страдают невинные дети?

Попробуем кратко пересказать содержание романа, чтобы был понятен тот довольно большой отрывок из него, которым завершается эта книга. Алеша – младший сын злого и эгоистичного помещика Федора Павловича Карамазова. У Алеши два старших брата. Дмитрий – офицер в отставке, шумный, буйный, любящий выпить и погулять, но чистый душой и искренний человек. Иван – мыслитель и философ, преуспевающий столичный литератор. По ряду обстоятельств они собираются вместе в доме отца, в маленьком провинциальном городе Скотопригоньевске. Сыновья не любят отца, всю жизнь обижавшего и обделявшего их. Любви нет даже у Алеши, хотя он, в отличие от братьев, относится к отцу с состраданием и сочувствием.

Дмитрий приехал с тем, чтобы получить от отца положенные ему по наследству деньги, – деньги эти очень нужны ему, чтобы заплатить мучающий его долг, три тысячи. У Федора Павловича служит лакеем Павел Смердяков – по слухам, четвертый, незаконный его сын. Со Смердяковым любит беседовать Иван, просвещая его с высоты своей образованности и растолковывая ему свои передовые теории. Теории же эти сводятся вот к чему. Если Бог, добрый и милосердный, действительно существует, то как Он допускает страдания невинных детей (Иван специально собирает факты действительно ужасных страданий и мучений детей из газет и рассказов очевидцев)? Взрослые, по его мнению, уже совершили в своей жизни разные греховные поступки, и можно считать, что их страдания – наказание за зло. Но дети-то страдают за что? И если Церковь обещает нам «в конце веков» рай, мировую гармонию, то как можно принять такую гармонию, на пути к которой были страдания детей, да пусть хоть одна слезинка одного ребенка? И Иван гордо заявляет: я возвращаю Богу мой «билет» в рай. А для человека, выбравшего такой путь или решившего, что Бога вовсе нет, – «все позволено». Ибо если мир стоит не на любви и доброте, а жизнь человека заканчивается с его земной смертью, то зачем следовать каким-то принципам и идеалам?

Но сильный ум Ивана – впрочем, не только его, но и многих мыслителей прошлого – не может понять простую вроде бы вещь. В Библии – книге, в начале которой рассказывается о том, как Бог сотворил мир и человека, – сказано, что человек был создан по образу и подобию Божиему. Это менее всего означает, что между человеком и Богом есть внешнее сходство. Главное: человек наделен, как и Бог, свободой. И все, что каждый из нас делает, – работа, помощь другим людям, добрые дела, вообще отношения с окружающим миром, – имеет смысл и ценность, только если совершается по нашей свободной воле. Если человек делает что-то из-под палки, по принуждению, то, во-первых, он тут же перестанет это делать, как только принуждение прекратится. Во-вторых, делать он это будет плохо, ибо без любви и без души, со злостью и раздражением. В-третьих, пользы и смысла от этого не будет, потому что ближние лучше обойдутся без помощи, смешанной со злостью. Конечно, живя среди людей, мы порой обязаны делать что-то не по своей воле – например, рано вставать и идти в школу или на работу, выполнять разные бытовые дела, – но в итоге все равно ведь мы делаем это ради любви к кому-то или чему-то, то есть опять-таки по нашей свободной воле. Так же обстоит дело и с верой. Только такая вера ценна, которая основана на свободной воле человека. Если бы Бог явился всем людям зримо и очевидно, во всем своем могуществе и великолепии, людям бы оставалось только упасть на колени перед Ним и рабски поклоняться Ему.

Если бы Бог постоянно вмешивался в жизнь людей – и за добрые дела тут же награждал, а за дурные – наказывал, мир был бы похож на клетку с дрессированными животными. Людям дана свобода выбрать добро или зло. Те, кто выбрал зло, мучают себя и окружающих (в том числе и беззащитных детей), а результаты и последствия этого почему-то называют Божьим наказанием, то есть попросту люди перекладывают собственную вину на Бога (а некоторые – на силы зла, на черта и тому подобное; это делает и Иван). И если тебя действительно мучит существующее на земле зло, начни борьбу с ним в самом себе – по цепочке (ведь все на земле неразрывно связано) начнет меняться и остальной мир. Гораздо легче объявить, что в окружающем мире правит зло, и снять с себя ответственность за него; «количество» зла от этого только увеличится. Так и происходит в судьбе Ивана.

Неожиданно ночью находят тело убитого Федора Павловича, из его комнаты похищены

деньги. Подозрение сразу падает на Дмитрия, который незадолго перед тем грозился убить отца и добыть нужные ему деньги. Все улики против него, ему предстоит суд. Но перед самым судом Иван узнает, что убил и ограбил отца лакей Смердяков, наслушавшись его, Ивана, рассуждений о том, что «если Бога нет, то все позволено». Мало того, задумав убийство, Смердяков дал понять Ивану, что, если он уедет, отца убьют. Тот, втайне желая, чтобы убийство совершилось и виноват оказался Дмитрий, уезжает. Смердяков воспринимает отъезд как одобрение своих замыслов. Осознав все это, Иван приходит в ужас и решает на следующий день явиться в суд и признаться. Но напряжение происшедшего оказывается слишком велико, и он сходит с ума. А Смердяков, лишившись поддержки Ивана (в которой был уверен), кончает жизнь самоубийством. В результате Дмитрий, в невиновности которого убежден только Алеша, осужден и приговорен к каторге.

Все главные проблемы романа по-своему отражаются и в мире «мальчиков». Здесь есть как бы маленькая копия Ивана – Коля Красоткин, тоже претендующий на то, чтобы быть «сильной личностью». В духе «прогрессивных» идей того времени Коля тоже рассуждает свысока о том, что «я, знаете, никогда не отвергаю народа… я всегда готов признать ум в народе… с народом надо умеючи говорить… я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнюдь не балуя его…»; «Я социалист… я неисправимый социалист… Я воображаю иногда… что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов уничтожить весь порядок вещей». Тут это еще смешно, но сколько бед совсем скоро принесут России такие Коли Красоткины, когда немного подрастут, но не наберутся ума! Да и сегодня разве нет таких Красоткиных?

А между тем претендующий на роль «учителя народа» Коля обнаруживает свое полное непонимание жизни даже в отношениях с маленьким Илюшей. Сначала он берется «опекать» его, затем, когда Илюша полностью доверяется ему, он бросает его – в «воспитательных целях». Когда Илюша, соблазненный Смердяковым (как сам Смердяков – Иваном), совершает зло по отношению к бездомной собаке – подбрасывает ей бритву в хлебе и испытывает страшные муки совести после этого, Коля, найдя собаку, не спешит обрадовать Илюшу, хотя известие, что собака жива, могло бы спасти больного мальчика. Он много дней дрессирует собаку, чтобы «произвести эффект» у постели больного Илюши. Но болезнь уже зашла далеко: маленький Илюша умирает.

В связи с этой историей «мальчиков» хотелось бы сказать и о другом. В каждом детском коллективе есть кто-то один или несколько человек, кого преследуют насмешками (а то и похуже), отторгают, обижают, не принимают к «своим». Это обычно делается для того, чтобы «своим» утвердиться в сознании собственной значительности и ценности. Если вы из тех, кто преследует, прочитав «Мальчиков», задумайтесь: может, тот, с кем вы так поступаете, такой же Илюшечка.

И Илюша, и его отец – бедный, униженный, но оттого еще более обидчиво-гордый капитан Снегирев, и Коля Красоткин, и остальные мальчики – все поначалу встречают Алешу враждебно, настороженно, агрессивно. Илюша даже бросает в него камнями и прокусывает палец. Алеша мог бы ответить такой же агрессией: ударить, оскорбить, обидеть, тем более что он-то ни перед кем из этих людей не виноват. Но Алеша во всех случаях отвечает смирением и любовью, и люди преображаются, злоба и ожесточение, как корка, спадают с их сердец, и вскоре они уже становятся преданными друзьями и даже учениками Алеши.

Здесь – две важнейшие в романе (и в жизни нашей) истины. Как учил Алешу старец Зосима, «когда сталкиваешься с грехом людским и спрашиваешь себя: взять ли силой или смиренной любовью? – всегда решай: возьму смиренной любовью. Решишься – так раз навсегда и весь мир покорить возможешь». Хотя может показаться, что это глупо и просто невозможно, особенно в нынешнее время, поверьте: эта истина оказывается истиной всегда. (Конечно, так следует поступать лишь тогда, когда не надо защищать себя, а тем более другого от действительно сильного, нападающего зла – тут, Достоевский всегда подчеркивал, надо противопоставить злу силу и обезвредить его.) И второе. Нет человека, который мог бы сказать: я не виноват в зле, творящемся в мире. Задумайтесь и увидите, сколько плохого можно было бы избежать, поступи мы сами когда-то по-другому. Важно осознать это как можно раньше – как мальчики из «Братьев Карамазовых». Жизнь – не только счастье, но и труднейшее испытание с

самых ранних лет.

В начале 1880 года в Москве состоялись торжества, посвященные открытию памятника А. С. Пушкину на Страстной (ныне Пушкинской) площади. На этих торжествах, вместе со многими писателями и общественными деятелями, выступал и Достоевский. Он произнес вдохновенную речь о своем любимом поэте. Она до сих пор остается, может быть, самым лучшим и мудрым из всего, что написано и сказано о Пушкине. Восторг слушавших был так велик, что люди падали в обморок, мирились друг с другом те, кто враждовал много лет…

Правда, уже на следующий день в обществе развернулись жаркие споры по поводу этой речи. Споры, продолжающиеся и до сих пор…

Речь о Пушкине, возражения споривших с ней и другие материалы составили последний выпуск «Дневника писателя» – январский за 1881 год. В конце января у Достоевского обострилась болезнь легких, которой он давно страдал. 28 января (по старому стилю) ему стало совсем плохо. Он попросил жену открыть Евангелие (то самое, что привез с каторги) и прочесть первые открывшиеся строки. Это были строки Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как Иоанн Креститель, к которому приходит креститься Христос, не решается крестить Его. «Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Не удерживай; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“». «Ты слышишь, – сказал жене Достоевский, – „не удерживай“ – значит, я умру». Через несколько часов его не стало.

Здесь удалось показать, может быть, лишь одну сотую сложнейшего и интереснейшего мира Достоевского. Вот уже много десятков лет миллионы людей во всем мире изучают его произведения, спорят о них, учатся у него пониманию глубины, сложности и радости жизни. Сегодня в этот мир вступаете и вы. Читайте его, размышляйте, соглашайтесь или спорьте с ним. Не будьте только равнодушны к жизни и к ее «вечным вопросам», и тогда можно будет сказать, что вы идете путем Достоевского. Счастья вам!

Карен Степанян

Записки Вареньки Доброселовой

(из романа «Бедные люди»).
© Рис. Д. Штеренберга, 1971

I

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П-го, в Т-й губернии. Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо… Я была такая резвая маленькая: только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам – и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье, – дома после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я еще дитею принуждена была оставить родные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П-й умер. Наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги в оборотах[1] в руках частных лиц в Петербурге. Надеясь

[1] *Деньги в оборотах* – деньги, которые отдаются в долг какому-либо банку или частному лицу и «работают» («оборачиваются»), принося своему владельцу доход в виде процентов с долга.

поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присутствие. Все это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на Петербургской стороне[2] и прожили на одном месте до самой кончины батюшки.

Как тяжело мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; все было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились новым хозяйством. Батюшки все не было дома, у матушки не было покойной минуты – меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру, после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно.

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было… Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым: по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку – смирно, тихо; пошевелиться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали в пансион[3]. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Все так сухо, неприветливо было, – гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно. Часы на все положенные, общий стол, скучные учителя – все это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами[4] или вокабулами[5], шевельнуться не смею, а сама все думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки… ах, как сгрустнется!

Об самой пустой вещице в доме, и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вот как бы хорошо теперь было дома! Сидела бы я в маленькой комнатке нашей, у самовара, вместе с нашими; было бы так тепло, хорошо, знакомо. Как бы, думаешь, обняла теперь матушку, крепко-крепко, горячо-горячо! Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с тоски, давя в груди слезы, и нейдут на ум вокабулы. Как к завтра урока не выучишь; всю ночь снятся учитель, мадам, девицы; всю ночь во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувернантке. Зато какой рай, когда няня придет, бывало, за мной в субботу вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в исступлении радости. Она меня оденет, укутает, дорогою не поспевает за мной, а я все болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы; со всеми здороваешься, смеешься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьезные, о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике

---

[2] Петербургская сторона – район в Санкт-Петербурге (ныне – Петроградская сторона), с которого начиналось строительство города, на Петровском острове, за Троицким мостом и Петропавловской крепостью.

[3] *Пансио́н* – частное учебное заведение, где дети жили и учились, приезжая домой лишь на субботу и воскресенье.

[4] *Разговоры* , или «диалоги», – пособия для обучения иностранному языку.

[5] *Вока́булы* – иностранные слова с переводом на родной язык для заучивания наизусть.

Ломонда – и все мы так веселы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился бог знает как. С каждым днем он становился все мрачнее, недовольнее, сердитее; характер его совсем испортился: дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась больная такая; все худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона – всё такие грустные лица; матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. Батюшка начнет говорить, что я ему не доставляю никаких радостей, никаких утешений; что они из-за меня последнего лишаются, а я до сих пор не говорю по-французски; одним словом, все неудачи, все несчастия, всё, всё вымещалось на мне и на матушке. А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало: щеки ее ввалились, глаза впали, в лице был такой чахоточный цвет. Мне доставалось больше всех. Начиналось всегда из пустяков, а потом уж бог знает до чего доходило; часто я даже не понимала, о чем идет дело. Чего не причиталось!.. И французский язык, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансиона нерадивая, глупая женщина; что она об нашей нравственности не заботится; что батюшка службы себе до сих пор не может найти и что грамматика Ломонда скверная грамматика, а Запольского гораздо лучше; что на меня денег много бросили по-пустому; что я, видно, бесчувственная, каменная, – одним словом, я, бедная, из всех сил билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всем была виновата, за все отвечала! И это совсем не оттого, чтобы батюшка не любил меня: во мне и матушке он души не слышал. Но уж это так, характер был такой.

Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то оцепенении; я даже боялась за ее рассудок. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою. Все, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропитания. Матушка страдала изнурительною болезнию, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.

После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Федоровне, что ее предложение мы принимаем с благодарностию. Как теперь помню утро, в которое мы перебирались с Петербургской стороны на Васильевский остров. Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала, мне было ужасно грустно: грудь у меня разрывалась, душу томило от какой-то неизъяснимой, страшной тоски… Тяжкое было время…

II

Сначала, покамест еще мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме,

в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трех из них жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, – ребенок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила очень хорошо…

Сначала она была с нами довольно ласкова, – а потом уж и выказала свой настоящий характер вполне, как увидала, что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада; было ли бы еще у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так еще бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье ее становилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Федоровне: она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвиденные расходы откладывать, нужно было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Но матушка последнее здоровье свое потеряла на работе: она слабела с каждым днем. Болезнь, как червь, видимо подтачивала жизнь ее и близила к гробу. Я все видела, все чувствовала, все выстрадала; все это было на глазах моих!

Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать свое владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прекословить. В нашей комнате мы были отделены от ее половины коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, географии – всем наукам, как говорила Анна Федоровна, и за то получал от нее квартиру и стол; Саша была препонятливая девочка, хотя резвая и шалунья; ей было тогда лет тринадцать. Анна Федоровна заметила матушке, что недурно бы было, если бы и я стала учиться, затем, что в пансионе меня недоучили. Матушка с радостию согласилась, и я целый год училась у Покровского вместе с Сашей.

Покровский был бедный, очень бедный молодой человек; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так, по привычке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, смирно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой странный; так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша беспрерывно над ним проказничала, особенно когда он нам уроки давал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и часто, не докончив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него было много книг, и все такие дорогие, редкие книги. Он кое-где еще учил, получал кое-какую плату, так что чуть, бывало, у него заведутся деньги, так он тотчас идет себе книг покупать.

Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встречать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим из друзей, – разумеется, после матушки.

Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздразнить и вывесть его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. (Мне даже и вспоминать это стыдно.) Раз мы раздразнили его чем-то чуть не до слез, и я слышала ясно, как он прошептал: «Злые дети». Я вдруг смутилась; мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до

ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но он закрыл книгу, не докончил нам урока и ушел в свою комнату. Я целый день надрывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, своими жестокостями довели его до слез, была для меня нестерпима. Мы, стало быть, ждали его слез. Нам, стало быть, их хотелось; стало быть, мы успели его из последнего терпения вывесть; стало быть, мы насильно заставили его, несчастного, бедного, о своем лютом жребии вспомнить! Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от раскаянья. Говорят, что раскаянье облегчает душу – напротив. Не знаю, как примешалось к моему горю и самолюбие. Мне не хотелось, чтобы он считал меня за ребенка. Мне тогда было уже пятнадцать лет.

С этого дня я начала мучить воображение мое, создавая тысячи планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить свое мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива; в настоящем положении моем я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями (и бог знает какими мечтаниями!). Я перестала только проказничать вместе с Сашей: он перестал на нас сердиться; но для самолюбия моего этого было мало.

Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом любопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-либо мне случалось встречать. Потому говорю о нем теперь, именно на этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого внимания, – так все, касавшееся Покровского, стало для меня вдруг занимательно!

У нас в доме являлся иногда старичок, запачканный, дурно одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним словом, странный донельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. Оттого он все как-то ежился, как-то кривлялся; такие ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в своем уме. Придет, бывало, к нам, да стоит в сенях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдет – я или Саша, или из слуг, кого он знал подобрее к нему, – то он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки, и разве только когда кивнешь ему головою и позовешь его – условный знак, что в доме нет никого постороннего и что ему можно войти, когда ему угодно, – только тогда старик тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец. Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена (мать студента Покровского), то он вздумал жениться во второй раз, и женился на мещанке. При новой жене в доме все пошло вверх дном; никому житья от нее не стало; она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был тогда еще ребенком, лет десяти. Мачеха его возненавидела. Но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребенка под свое покровительство и поместил его в какую-то школу.

Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимназию и потом в университет. Господин Быков, весьма часто приезжавший в Петербург, и тут не оставил его своим покровительством. За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать занятий своих в университете. Господин Быков познакомил его с Анной Федоровной, сам рекомендовал его, и таким образом молодой Покровский был принят на хлебы с уговором учить Сашу всему, чему ни потребуется.

Старик же Покровский, с горя от жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Он был еще не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чем не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. Во-первых, он был ужасно любопытен, во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми, он поминутно мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде.

Бедный старик не мог надивиться и нарадоваться на своего Петеньку (так он называл сына). Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, обыкновенно долго не решался войти, и если я тут случалась, так он меня минут двадцать, бывало, расспрашивал – что, каков Петенька? здоров ли он? в каком именно расположении духа, и не занимается ли чем-нибудь важным? Что он именно делает? Пишет ли или размышлениями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла и успокоивала, то старик наконец решался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворял двери, проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными полями, – все вешал на крюк, все делал тихо, неслышно; потом садился где-нибудь осторожно на стул и с сына глаз не спускал… Если сын с ним заговаривал, то старик всегда отвечал тихо. Но дар слова ему не давался: всегда смешается и сробеет, так что не знает, куда руки девать, куда себя девать, и после еще долго про себя ответ шепчет, как бы желая поправиться. Иногда он заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков и все, бывало, толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька добрый сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так, бывало, смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила.

Скоро я перестала учиться у Покровского. Меня он по-прежнему считал ребенком, резвой девочкой, на одном ряду с Сашей. Мне было это очень больно, потому что я всеми силами старалась загладить мое прежнее поведение. Но меня не замечали. Это раздражало меня более и более. Я никогда почти не говорила с Покровским вне классов, да и не могла говорить. Я краснела, мешалась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады.

Я не знаю, чем бы это все кончилось, если б сближению нашему не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечером, когда матушка сидела у Анны Федоровны, я тихонько вошла в комнату Покровского. Я знала, что его не было дома, и, право, не знаю, отчего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда и не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже с лишком год. Я осмотрелась у него кругом с каким-то особенным любопытством. Комната Покровского была весьма бедно убрана; порядка было мало. На стенах прибито было пять длинных полок с книгами. На столе и на стульях лежали бумаги. Книги да бумаги! Он был учен, а я была глупа и ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги… Тут я завистливо поглядела на длинные полки, которые ломились под книгами. Мною овладела досада, тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я тут же решилась прочесть его книги, все до одной, и как можно скорее. Не знаю, может быть, я думала, что, научившись всему, что он знал, буду достойнее его дружбы. Я бросилась к первой полке; не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся, запыленный старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, решившись прочесть ее ночью, у ночника, когда заснет матушка.

Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и увидала какое-то старое, полусгнившее, все изъеденное червями латинское сочинение. Я воротилась, не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я заспешила, заторопилась, но несносная книга была так плотно поставлена в ряд, что, когда я вынула одну, все остальные раздались сами собою и

сплотнились так, что теперь для прежнего их товарища не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня недоставало сил. Однако ж я толкнула книги как только могла сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка и который, кажется, нарочно ждал этой минуты, чтоб сломаться, – сломался. Полка полетела одним концом вниз. Книги с шумом посыпались на пол. Дверь отворилась, и Покровский вошел в комнату.

Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяйничал в его владениях. Беда тому, кто дотрогивался до книг его! Судите же о моем ужасе, когда книги, маленькие, большие, всевозможных форматов, всевозможной величины и толщины, ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями, по всей комнате. Я было хотела бежать, но было поздно. «Кончено, думаю, кончено! Я пропала, погибла! Я балую, резвлюсь, как десятилетний ребенок; я глупая девчонка! Я большая дура!!» Покровский рассердился ужасно. «Ну вот, этого недоставало еще! – закричал он. – Ну, не стыдно ли вам так шалить!.. Уйметесь ли вы когда-нибудь?» И сам бросился подбирать книги. Я было нагнулась помогать ему. «Не нужно, не нужно, – закричал он. – Лучше бы вы сделали, если б не ходили туда, куда вас не просят». Но, впрочем, немного смягченный моим покорным движением, он продолжал уже тише, в недавнем наставническом тоне, пользуясь недавним правом учителя: «Ну, когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уж вы не ребенок, не маленькая девочка, ведь вам уже пятнадцать лет!»

Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уже два дня не вставала с постели и на третью ночь была в жару и в бреду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, сидела у ее кровати, подносила ей питье и давала в определенные часы лекарства. На вторую ночь я измучилась совершенно. По временам меня клонил сон, в глазах зеленело, голова шла кругом, и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня, я вздрагивала, просыпалась на мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. Я мучилась. Я не знаю – я не могу припомнить себе, – но какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову в томительную минуту борьбы сна с бдением. Я проснулась в ужасе. В комнате было темно, ночник погасал, полосы света то вдруг обливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на меня: воображение мое взволновано было ужасным сном; тоска сдавила мое сердце… Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшно тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в комнату.

Он бережно посадил меня в кресла, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. Не помню, что я ему отвечала. «Вы больны, вы сами очень больны, – сказал он, взяв меня за руку, – у вас жар, вы себя губите, вы своего здоровья не щадите; успокойтесь, лягте, засните. Я вас разбужу через два часа, успокойтесь немного… Ложитесь же, ложитесь!» – продолжал он, не давая мне выговорить ни одного слова в возражение. Усталость отняла у меня последние силы; глаза мои закрывались от слабости. Я прилегла в кресла, решившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. Покровский разбудил меня только тогда, когда пришло время давать матушке лекарство.

На другой день, когда я, отдохнув немного днем, приготовилась опять сидеть в креслах у постели матушки, твердо решившись в этот раз не засыпать, Покровский часов в одиннадцать постучался в нашу комнату. Я отворила. «Вам скучно сидеть одной, – сказал он мне, – вот вам книга: возьмите; все не так скучно будет». Я взяла; я не помню, какая это была книга: вряд ли я тогда в нее заглянула, хоть всю ночь не спала.

В следующий вечер, когда в доме уж все улеглись, Покровский отворил свою дверь и начал со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова из того, что мы сказали тогда друг другу. Помню только, что я робела, мешалась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания разговора, хотя сама всеми силами желала его, целый день мечтала о нем и сочиняла мои вопросы и ответы… Я призналась ему, что мне хотелось учиться, что-нибудь знать, что мне досадно было, что меня считают девочкой, ребенком!..

Матушка выздоравливала, но я еще продолжала сидеть по ночам у ее постели. Часто Покровский давал мне книги; я читала, сначала чтоб не заснуть, потом внимательнее, потом с жадностию; передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, незнакомого

мне. Новые мысли, новые впечатления разом, обильным потоком прихлынули к моему сердцу. Так прошло несколько недель…

Как-то раз зашел к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал, был не по-обыкновенному весел, бодр, разговорчив; смеялся, острил по-своему и, наконец, разрешил загадку своего восторга и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения Петеньки и что по сему случаю он непременно придет к сыну; что он наденет новую жилетку и что жена обещалась купить ему новые сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо всем, что ему на ум попадалось.

День его рождения! Этот день рождения не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Я непременно решилась напомнить о своей дружбе Покровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконец я выдумала подарить ему книг. Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина, в последнем издании, и я решила купить Пушкина. У меня своих собственных денег было рублей тридцать, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены у меня на новое платье.

Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрену, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена всех одиннадцати книг, присовокупив сюда издержки на переплет, была по крайней мере рублей шестьдесят. Где взять денег? Я думала-думала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла; но тогда все бы в доме узнали о нашем подарке; да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату за целый год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. А за труды его со мною я хотела быть ему навсегда одолженною без какой бы то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец я выдумала, как выйти из затруднения.

Я знала, что у букинистов в Гостином дворе можно купить книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться, часто малоподержанную и почти совершенно новую. Я положила непременно отправиться в Гостиный двор. Так и случилось: назавтра же встретилась какая-то надобность и у нас и у Анны Федоровны. Матушке понездоровилось, Анна Федоровна очень кстати поленилась, так что пришлось все поручения возложить на меня, и я отправилась вместе с Матреной.

К моему счастию, я нашла весьма скоро Пушкина, и в весьма красивом переплете. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже, чем в лавках; но потом, впрочем не без труда, уходя несколько раз, я довела купца до того, что он сбавил цену и ограничил свои требования только десятью рублями серебром. Как мне весело было торговаться!.. Бедная Матрена не понимала, что со мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но ужас! Весь мой капитал был в тридцать рублей ассигнациями[6], а купец никак не соглашался уступить дешевле. Наконец я начала упрашивать, просила-просила его, наконец упросила. Он уступил, но только два с полтиною, и побожился, что и эту уступку он только ради меня делает, что я такая барышня хорошая, а что для другого кого он ни за что бы не уступил. Двух с половиною рублей недоставало! Я готова была заплакать с досады. Но самое неожиданное обстоятельство помогло мне в моем горе.

---

[6] В то время один серебряный рубль соответствовал трем с половиной рублям ассигнациями (то есть бумажными деньгами).

Недалеко от меня, у другого стола с книгами, я увидала старика Покровского. Вокруг него столпились четверо или пятеро букинистов; они его сбили с последнего толку, затормошили совсем. Всякий из них предлагал ему свой товар, и чего-чего не предлагали они ему и чего-чего не хотел он купить! Бедный старик стоял посреди их, как будто забитый какой-нибудь, и не знал, за что взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спросила – что он здесь делает? Старик мне очень обрадовался; он любил меня без памяти, может быть не менее Петеньки. «Да вот книжки покупаю, Варвара Алексеевна, – отвечал он мне, – Петеньке покупаю книжки. Вот его день рождения скоро будет, а он любит книжки, так вот я и покупаю их для него…» Старик и всегда смешно изъяснялся, а теперь вдобавок был в ужаснейшем замешательстве. К чему ни приценится, все рубль серебром, два рубля, три рубля серебром; уж он к большим книгам и не приценивался, а так только завистливо на них посматривал, перебирал пальцами листочки, вертел в руках и опять ставил на место. «Нет, нет, это дорого, – говорил он вполголоса, – а вот разве отсюдова что-нибудь», – и тут он начинал перебирать тоненькие тетрадки, песенники, альманахи; это все было очень дешево. «Да зачем вы это все покупаете, – спросила я его, – это все ужасные пустяки». – «Ах, нет, – отвечал он, – нет, вы посмотрите только, какие здесь есть хорошие книжки; очень, очень хорошие есть книжки!» И последние слова он так жалобно протянул нараспев, что мне показалось, что он заплакать готов от досады, зачем книжки хорошие дороги, и что вот сейчас капнет слезинка с его бледных щек на красный нос. Я спросила, много ли у него денег? «Да вот, – тут, бедненький, вынул все свои деньги, завернутые в засаленную газетную бумажку, – вот полтинничек, двугривенничек, меди

копеек двадцать». Я его тотчас потащила к моему букинисту. «Вот целых одиннадцать книг стоит всего-то тридцать два рубля с полтиною; у меня есть тридцать; приложите два с полтиною; и мы купим все эти книги и подарим вместе». Старик обезумел от радости, высыпал все свои деньги, и букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку. Мой старичок наложил книг во все карманы, набрал в обе руки, под мышки и унес все к себе, дав мне слово принести все книги на другой день тихонько ко мне.

На другой день старик пришел к сыну, с часочек посидел у него по обыкновению, потом зашел к нам и подсел ко мне с прекомическим таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил мне, что книжки все пренезаметно перенесены к нам и стоят в уголку, в кухне, под покровительством Матрены. Потом разговор естественно перешел на ожидаемый праздник; потом старик распространился о том, как мы будем дарить, и чем далее углублялся он в свой предмет, чем более о нем говорил, тем приметнее мне становилось, что у него есть что-то на душе, о чем он не может, не смеет, даже боится выразиться. Я все ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала доселе в его странных ухватках, гримасничанье, подмигивание левым глазком, исчезли. Он делался поминутно все беспокойнее и тоскливее; наконец он не выдержал.

– Послушайте, – начал он робко, вполголоса, – послушайте, Варвара Алексеевна… знаете ли что, Варвара Алексеевна?.. – Старик был в ужасном замешательстве. – Видите: вы, как придет день его рождения, возьмите десять книжек и подарите их ему сами, то есть от себя, с своей стороны; я же возьму тогда одну одиннадцатую и уж тоже подарю от себя, то есть, собственно, с своей стороны. Так вот, видите ли – и у вас будет что-нибудь подарить и у меня будет что-нибудь подарить; у нас обоих будет что-нибудь подарить. – Тут старик смешался и замолчал. Я взглянула на него: он с робким ожиданием ожидал моего приговора. «Да зачем же вы хотите, чтоб мы не вместе дарили, Захар Петрович?» – «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так… я ведь, оно того…» – одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места.

– Видите ли, – объяснился он наконец. – Я, Варвара Алексеевна, балуюсь подчас… то есть я хочу доложить вам, что я почти и все балуюсь и всегда балуюсь… придерживаюсь того, что нехорошо… то есть знаете, этак на дворе такие холода бывают, также иногда неприятности бывают разные, или там как-нибудь грустно сделается, или что-нибудь из нехорошего случится, так я и не удержусь подчас, и забалуюсь, и выпью иногда лишнее. Петруше это очень неприятно. Он, вот видите ли, Варвара Алексеевна, сердится, бранит меня и мне морали разные читает. Так вот бы мне и хотелось теперь самому доказать ему подарком моим, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо. Что вот я копил, чтобы книжку купить, долго копил, потому что у меня и денег-то почти никогда не бывает, разве, случится, Петруша кое-когда даст. Он это знает. Следовательно, вот он увидит употребление денег моих и узнает, что все это я для него одного делаю.

Мне стало ужасно жаль старика. Я думала недолго. Старик смотрел на меня с беспокойством. «Да слушайте, Захар Петрович, – сказала я, – вы подарите их ему все!» – «Как все? то есть книжки все?..» – «Ну да, книжки все». – «И от себя?» – «От себя». – «От одного себя? то есть от своего имени?» – «Ну да, от своего имени…» Я, кажется, очень ясно толковала, но старик очень долго не мог понять меня.

«Ну да, – говорил он, задумавшись, – да! это будет очень хорошо, это было бы весьма хорошо, только вы-то как же, Варвара Алексеевна?» – «Ну, да я ничего не подарю». – «Как! – закричал старик, почти испугавшись, – так вы ничего Петеньке не подарите, так вы ему ничего дарить не хотите?» Старик испугался; в эту минуту он, кажется, готов был отказаться от своего предложения затем, чтобы и я могла чем-нибудь подарить его сына. Добряк был этот старик! Я уверила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствия. «Если сын ваш будет доволен, – прибавила я, – и вы будете рады, то и я буду рада, потому что втайне-то, в сердце-то моем, буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила». Этим старик совершенно успокоился. Он пробыл у нас еще два часа, но все это время на месте не мог усидеть, вставал, возился, шумел, шалил с Сашей, целовал меня украдкой, щипал меня за руку и делал тихонько гримасы Анне Федоровне. Анна Федоровна

прогнала его наконец из дома. Одним словом, старик от восторга так расходился, как, может быть, никогда еще не бывало с ним.

В торжественный день он явился ровно в одиннадцать часов, прямо от обедни, во фраке, прилично заштопанном, и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны и пили кофе (было воскресенье). Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец; потом, сбиваясь и мешаясь, перешел вдруг на то, что нужно вести себя хорошо и что если человек не ведет себя хорошо, то значит, что он балуется; что дурные наклонности губят и уничтожают человека; исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь ведет себя примерно хорошо.

Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного старика; ведь умел же налгать, когда нужда пришла! Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. Этот день мы все были так веселы. После обеда играли в фанты, в карты; Саша резвилась, я от нее не отставала.

А теперь все пойдут грустные, тяжелые воспоминания: начнется повесть о моих черных днях. Вот отчего, может быть, перо мое начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такою любовью переходила в памяти моей малейшие подробности моего маленького житья-бытья в счастливые дни мои. Эти дни были так недолги; их сменило горе, черное горе, которое бог один знает когда кончится.

Несчастия мои начались болезнию и смертию Покровского.

Он заболел два месяца спустя после последних происшествий, мною здесь описанных. В эти два месяца он неутомимо хлопотал о способах жизни, ибо до сих пор он еще не имел определенного положения. Как и все чахоточные, он не расставался до последней минуты своей с надеждою жить очень долго. Ему выходило куда-то место в учителя; но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казенном месте он не мог за нездоровьем. К тому же долго бы нужно было ждать первого оклада жалованья. Короче, Покровский видел везде только одни неудачи; характер его портился. Здоровье его расстраивалось; он этого не примечал. Подступила осень. Каждый день он выходил в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь места, – что его внутренне мучило; промачивал ноги, мок под дождем и, наконец, слег в постель, с которой не вставал уж более… Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца.

Он редко был в памяти; часто был в бреду; говорил бог знает о чем, о своем месте, о своих книгах, обо мне, об отце…

В последнюю ночь он был как исступленный; он ужасно страдал, тосковал; стоны его терзали мою душу. Все в доме были в каком-то испуге. Анна Федоровна все молилась, чтобы Бог его прибрал поскорее. Призвали доктора. Доктор сказал, что больной умрет к утру непременно.

Старик Покровский целую ночь провел в коридоре, у самой двери в комнату сына; тут ему постлали какую-то рогожку. Он поминутно входил в комнату; на него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и все что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдет с горя.

Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул на своей рогожке как убитый. В восьмом часу сын стал умирать; я разбудила отца. Покровский был в полной памяти и простился со всеми нами. Чудно! Я не могла плакать; но душа моя разрывалась на части.

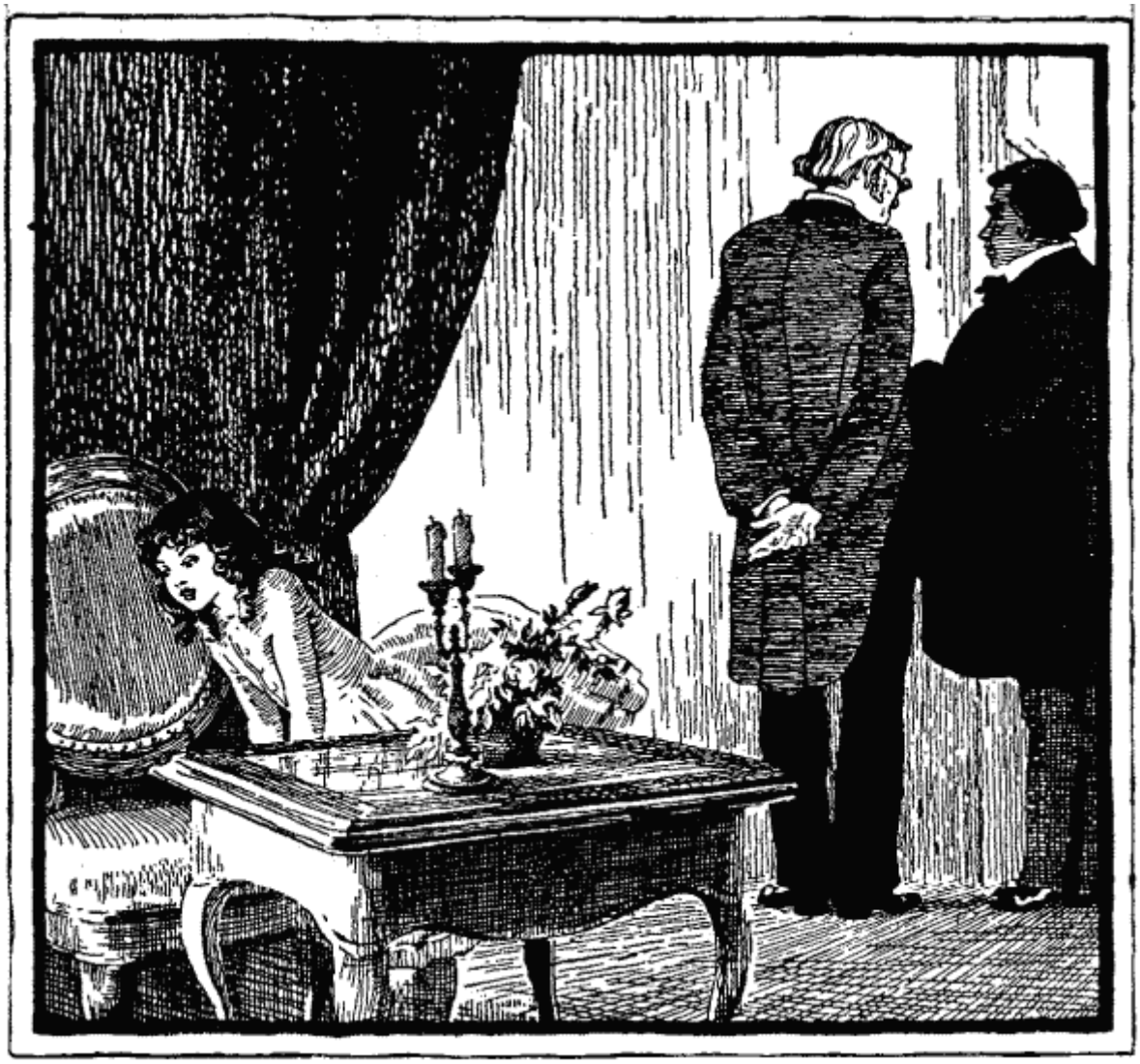
Но всего более истерзали и измучили меня его последние мгновения. Он чего-то все просил долго-долго коснеющим языком своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце мое надрывалось от боли! Целый час он был беспокоен, об чем-то все тосковал, силился сделать какой-то знак охолоделыми руками своими и потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим голосом; но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему пить; но он все грустно качал головою. Наконец я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет Божий, на солнце. Я отдернула

занавес; но начинающийся день был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою; оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкий дождь дробил в стекла и омывал их струями холодной грязной воды; было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, затепленной перед образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер.

Похоронами распорядилась сама Анна Федоровна. Купили гроб простой-простой и наняли ломового извозчика. В обеспечение издержек, Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покойного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу, куда мог, носился с ними все три дни и даже не расстался с ними и тогда, когда нужно было идти в церковь. Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый и с какою-то странною заботливостию все хлопотал около гроба: то оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свечи. Видно было, что мысли его ни на чем не могли остановиться порядком. Ни матушка, ни Анна Федоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Федоровна совсем было уж собралась, да поссорилась со стариком Покровским и осталась. Была только одна я да старик. Во время службы на меня напал какой-то страх – словно предчувствие будущего. Я едва могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя; поднимался ветер; изморозь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал непогоды и с плачем перебегал с одной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги; в руках его была какая-то огромная книга, за которую он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега поворотила наконец за угол и скрылась от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на грудь матушки. Я сжимала ее крепко-крепко в руках своих, целовала ее и навзрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти… Но смерть уже стояла над бедной матушкой!

……..

Неточка и Катя



(из романа «Неточка Незванова»).
© Рис. С. Монахова, 1971

Это был второй и последний период моей болезни[7].

Вновь открыв глаза, я увидела склонившееся надо мною лицо ребенка, девочки одних лет со мною, и первым движением моим было протянуть к ней руки. С первого взгляда на нее каким-то счастьем, будто сладким предчувствием наполнилась вся душа моя. Представьте себе идеально прелестное личико, поражающую, сверкающую красоту, одну из таких, перед которыми вдруг останавливаешься, как пронзенный, в сладостном смущении, вздрогнув от восторга, и которой благодарен за то, что она есть, за то, что на нее упал ваш взгляд, за то, что она прошла возле вас. Это была дочь князя, Катя, которая только что воротилась из Москвы. Она улыбнулась моему движению, и слабые нервы мои заныли от сладостного восторга.

Княжна позвала отца, который был в двух шагах и говорил с доктором.

– Ну, слава богу! слава богу, – сказал князь, взяв меня за руку, и лицо его засияло неподдельным чувством. – Рад, рад, очень рад, – продолжал он скороговоркой по всегдашней привычке. – А вот, Катя, моя девочка, познакомьтесь, – вот тебе и подруга. Выздоравливай скорее, Неточка. Злая этакая, как она меня напугала!..

Выздоровление мое пошло очень скоро. Через несколько дней я уже ходила. Каждое утро Катя подходила к моей постели, всегда с улыбкой, со смехом, который не сходил с ее губ. Ее появления ждала я, как счастья; мне так хотелось поцеловать ее! Но шаловливая девочка приходила едва на несколько минут; посидеть смирно она не могла. Вечно двигаться, бегать,

[7] Главе о Неточке и Кате в романе предшествует рассказ о тяжелом детстве Неточки, о смерти в нищете ее матери и отчима. Сирота Неточка оказывается в богатом княжеском семействе и тяжко заболевает.

скакать, шуметь и греметь на весь дом было в ней непременной потребностью. И потому она же с первого раза объявила мне, что ей ужасно скучно сидеть у меня и что потому она будет приходить очень редко, да и то затем, что ей жалко меня, – так уж нечего делать, нельзя не прийти; а что вот когда я выздоровею, так у нас пойдет лучше. И каждое утро первым словом ее было:

– Ну, выздоровела?

И так как я все еще была худа и бледна и улыбка как-то боязливо проглядывала на моем грустном лице, то княжна тотчас же хмурила брови, качала головой и в досаде топала ножкой.

– А ведь я ж тебе сказала вчера, чтоб ты была лучше! Что? тебе, верно, есть не дают?

– Да, мало, – отвечала я робко, потому что уже робела перед ней. Мне из всех сил хотелось ей как можно понравиться, а потому я боялась за каждое свое слово, за каждое движение. Появление ее всегда более и более приводило меня в восторг. Я не спускала с нее глаз, и когда она уйдет, бывало, я все еще смотрю, как зачарованная, в ту сторону, где она стояла. Она мне стала сниться во сне. А наяву, когда ее не было, я сочиняла целые разговоры с ней, была ее другом, шалила, проказила, плакала вместе с ней, когда нас журили за что-нибудь. Мне ужасно хотелось выздороветь и поскорей пополнеть, как она мне советовала.

Когда, бывало, Катя вбежит ко мне утром и с первого слова крикнет: «Не выздоровела? опять такая же худая!», то я трусила, как виноватая. Но ничего не могло быть серьезнее удивления Кати, что я не могу поправиться в одни сутки; так что она наконец начинала и в самом деле сердиться.

– Ну, так хочешь, я тебе сегодня пирог принесу? – сказала она мне однажды. – Кушай, от этого скоро растолстеешь.

– Принеси, – отвечала я в восторге, что увижу ее еще раз.

Осведомившись о моем здоровье, княжна садилась обыкновенно против меня на стул и начинала рассматривать меня своими черными глазами. И сначала, как знакомилась со мной, она поминутно так осматривала меня с головы до ног с самым наивным удивлением. Но наш разговор не клеился. Я робела перед Катей и перед ее крутыми выходками, тогда как умирала от желания говорить с ней.

– Что ж ты молчишь? – начала Катя после некоторого молчания.

– Что делает папа? – спросила я, обрадовавшись, что есть фраза, с которой можно начинать разговор каждый раз.

– Ничего. Папе хорошо. Я сегодня выпила две чашки чаю, а не одну. А ты сколько?

– Одну.

Опять молчание.

– Сегодня Фальстаф меня хотел укусить.

– Это собака?

– Да, собака. Ты разве не видала?

– Нет, видела.

– А почему же ты спросила?

И так как я не знала, что отвечать, то княжна опять посмотрела на меня с удивлением.

– Что? тебе весело, когда я с тобой говорю?

– Да, очень весело; приходи чаще.

– Мне так и сказали, что тебе будет весело, когда я буду к тебе приходить, да ты вставай скорее; уж я тебе сегодня принесу пирог… Да что ты все молчишь?

– Так.

– Ты все думаешь, верно?

– Да, много думаю.

– А мне говорят, что я много говорю и мало думаю. Разве говорить худо?

– Нет. Я рада, когда ты говоришь.

– Гм, спрошу у мадам Леотар, она все знает. А о чем ты думаешь?

– Я о тебе думаю, – отвечала я, помолчав.

– Это тебе весело?

– Да.

– Стало быть, ты меня любишь?

– Да.

– А я тебя еще не люблю. Ты такая худая! Вот я тебе пирог принесу. Ну, прощай!

И княжна, поцеловав меня почти на лету, исчезла из комнаты.

Но после обеда действительно явился пирог. Она вбежала, как исступленная, хохоча от радости, что принесла-таки мне кушанье, которое мне запрещали.

– Ешь больше, ешь хорошенько, это мой пирог, я сама не ела. Ну, прощай! – И только я ее и видела.

Другой раз она вдруг влетела ко мне, тоже не в урочный час, после обеда; черные локоны ее были словно вихрем разметаны, щечки горели, как пурпур, глаза сверкали; значит, что она уже бегала и прыгала час или два.

– Ты умеешь в воланы играть? – закричала она, запыхавшись, скороговоркой, торопясь куда-то.

– Нет, – отвечала я, ужасно жалея, что не могу сказать: да!

– Экая! Ну, выздоровеешь, выучу. Я только затем. Я теперь играю с мадам Леотар. Прощай; меня ждут.

Наконец я совсем встала с постели, хотя все еще была слаба и бессильна. Первая идея моя была уж не разлучаться более с Катей. Что-то неудержимо влекло меня к ней. Я едва могла на нее насмотреться, и это удивило Катю. Влечение к ней было так сильно, я шла вперед в новом чувстве моем так горячо, что она не могла этого не заметить, и сначала ей показалось это неслыханной странностью. Помню, что раз, во время какой-то игры, я не выдержала, бросилась ей на шею и начала ее целовать. Она высвободилась из моих объятий, схватила меня за руки и, нахмурив брови, как будто я чем ее обидела, спросила меня:

– Что ты? зачем ты меня целуешь?

Я смутилась, как виноватая, вздрогнула от ее быстрого вопроса и не отвечала ни слова. Княжна вскинула плечиками, в знак неразрешенного недоуменья (жест, обратившийся у ней в привычку), пресерьезно сжала свои пухленькие губки, бросила игру и уселась в угол на диване, откуда рассматривала меня очень долго и о чем-то про себя раздумывала, как будто разрешая новый вопрос, внезапно возникший в уме ее. Это тоже была ее привычка во всех затруднительных случаях. В свою очередь и я очень долго не могла привыкнуть к этим резким, крутым проявлениям ее характера.

Сначала я обвиняла себя и подумала, что во мне действительно очень много странного. Но хотя это было и верно, а все-таки я мучилась недоумением: отчего я не могу с первого раза подружиться с Катей и понравиться ей раз навсегда. Неудачи мои оскорбляли меня до боли, и я готова была плакать от каждого скорого слова Кати, от каждого недоверчивого взгляда ее. Но горе мое усиливалось не по дням, а по часам, потому что с Катей всякое дело шло очень быстро. Через несколько дней я заметила, что она совсем невзлюбила меня и даже начинала чувствовать ко мне отвращение. Все в этой девочке делалось скоро, резко, – иной бы сказал – грубо, если б в этих быстрых, как молния, движениях характера прямого, наивно-откровенного не было истинной, благородной грации. Началось тем, что она почувствовала ко мне сначала сомнение, а потом даже презрение, кажется, сначала за то, что я решительно не умела играть ни в какую игру. Княжна любила резвиться, бегать, была сильна, жива, ловка; я – совершенно напротив. Я была слаба еще от болезни, тиха, задумчива; игра не веселила меня; одним словом, во мне решительно недоставало способностей понравиться Кате. Кроме того, я не могла вынести, когда мною чем-нибудь недовольны: тотчас же становилась грустна, упадала духом, так что уж и сил недоставало загладить свою ошибку и переделать в свою пользу невыгодное обо мне впечатление, – одним словом, погибала вполне. Этого Катя никак не могла понять. Сначала она даже пугалась меня, рассматривала меня с удивлением, по своему обыкновению, после того, как, бывало, целый час бьется со мной, показывая, как играют в воланы, и не добьется толку. А так как я тотчас же становилась грустна, так что слезы готовы были хлынуть из глаз моих, то она, подумав надо мной раза три и не добившись толку ни от меня, ни от

размышлений своих, бросала меня наконец совершенно и начинала играть одна, уж более не приглашая меня, даже не говоря со мной в целые дни ни слова. Это меня так поражало, что я едва выносила ее пренебрежение. Новое одиночество стало для меня чуть ли не тяжелее прежнего, и я опять начала грустить, задумываться, и опять черные мысли облегли мое сердце.

Мадам Леотар, надзиравшая за нами, заметила наконец эту перемену в наших отношениях. И так как прежде всего я бросилась ей на глаза и мое вынужденное одиночество поразило ее, то она и обратилась прямо к княжне, журя ее за то, что она не умеет обходиться со мною. Княжна нахмурила бровки, вскинула плечиками и объявила, что ей со мною нечего делать, что я не умею играть, что я о чем-то все думаю и что лучше она подождет брата Сашу, который приедет из Москвы, и тогда им обоим будет гораздо веселее.

Но мадам Леотар не удовольствовалась таким ответом и заметила ей, что она меня оставляет одну, тогда как я еще больна, что я не могу быть такой же веселой и резвой, как Катя, что это, впрочем, и лучше, потому что Катя слишком резва, что она то-то сделала, это-то сделала, что третьего дня ее чуть было бульдог не заел, – одним словом, мадам Леотар побранила ее не жалея; кончила же тем, что послала ее ко мне с приказанием помириться немедленно.

Катя слушала мадам Леотар с большим вниманием, как будто действительно поняла что-то новое и справедливое в резонах ее. Бросив обруч, который она гоняла по зале, она подошла ко мне и, серьезно посмотрев на меня, спросила с удивлением:

– Вы разве хотите играть?

– Нет, – отвечала я, испугавшись за себя и за Катю, когда ее бранила мадам Леотар.

– Чего же вы хотите?

– Я посижу; мне тяжело бегать; а только вы не сердитесь на меня, Катя, потому что я вас очень люблю.

– Ну, так я буду играть одна, – тихо и с расстановкой отвечала Катя, как бы с удивлением замечая, что, выходит, она не виновата. – Ну, прощайте, я на вас не буду сердиться.

– Прощайте, – отвечала я, привстав и подавая ей руку.

– Может быть, вы хотите поцеловаться? – спросила она, немного подумав, вероятно припомнив нашу недавнюю сцену и желая сделать мне как можно более приятного, чтоб поскорее и согласно кончить со мною.

– Как вы хотите, – отвечала я с робкой надеждой.

Она подошла ко мне и пресерьезно, не улыбнувшись, поцеловала меня. Таким образом, кончив все, что от нее требовали, даже сделав больше, чем было нужно, чтоб доставить полное удовольствие бедной девочке, к которой ее посылали, она побежала от меня довольная и веселая, и скоро по всем комнатам снова раздавался ее смех и крик, до тех пор, пока, утомленная, едва переводя дух, бросилась она на диван отдыхать и собираться с свежими силами. Во весь вечер посматривала она на меня подозрительно: вероятно, я казалась ей очень чудной и странной. Видно было, что ей хотелось о чем-то заговорить со мной, разъяснить себе какое-то недоуменье, возникшее насчет меня; но в этот раз, я не знаю почему, она удержалась. Обыкновенно по утрам начинались уроки Кати. Мадам Леотар учила ее французскому языку. Все ученье состояло в повторении грамматики и в чтении Лафонтена[8]. Ее не учили слишком многому, потому что едва добились от нее согласия просидеть в день за книгой два часа времени. На этот уговор она наконец согласилась по просьбе отца, по приказанью матери и исполняла его очень совестливо, потому что сама дала слово. У ней были редкие способности; она понимала быстро и скоро. Но и тут в ней были маленькие странности: если она не понимала чего, то тотчас же начинала думать об этом сама и терпеть не могла идти за объяснениями, – она как-то стыдилась этого. Рассказывали, что она по целым дням иногда билась над каким-нибудь вопросом, который не могла решить, сердилась, что не могла одолеть его сама, без чужой помощи, и только в последних случаях, уже совсем выбившись из сил, приходила к мадам Леотар с просьбою помочь ей разрешить вопрос, который ей не давался. То же было в каждом ее поступке. Она уж много думала, хотя это вовсе не казалось так с первого взгляда. Но

---

8 *Лафонте́н Жан де* (1621–1695) – знаменитый французский баснописец.

вместе с тем она была не по летам наивна: иной раз ей случалось спросить какую-нибудь совершенную глупость; другой раз в ее ответах являлись самая дальновидная тонкость и хитрость.

Так как я тоже могла наконец чем-нибудь заниматься, то мадам Леотар, проэкзаменовав меня в моих познаниях и найдя, что я читаю очень хорошо, пишу очень худо, признала за немедленную и крайнюю необходимость учить меня по-французски.

Я не возражала, и мы в одно утро засели вместе с Катей за учебный стол. Случись же, что в этот раз Катя, как нарочно, была чрезвычайно тупа и до крайности рассеянна, так что мадам Леотар не узнавала ее. Я же почти в один сеанс знала уже всю французскую азбуку, как можно желая угодить мадам Леотар своим прилежанием. К концу урока мадам Леотар совсем рассердилась на Катю.

– Смотрите на нее, – сказала она, указывая на меня, – больной ребенок, учится первый раз и вдесятеро больше вас сделала. Вам это не стыдно?

– Она знает больше меня? – спросила в изумлении Катя, – да она еще азбуку учит!

– Вы во сколько времени азбуку выучили?

– В три урока.

– А она в один. Стало быть, она втрое скорее вас понимает и мигом вас перегонит. Так ли?

Катя подумала немного и вдруг покраснела, как полымя, уверясь, что замечание мадам Леотар справедливо. Покраснеть, сгореть от стыда – было ее первым движением почти при каждой неудаче, в досаде ли, от гордости ли, когда ее уличали за шалости, – одним словом, почти во всех случаях. В этот раз почти слезы выступили на глазах ее, но она смолчала и только так посмотрела на меня, как будто желая сжечь меня взглядом. Я тотчас догадалась, в чем дело. Бедняжка была горда и самолюбива до крайности. Когда мы пошли от мадам Леотар, я было заговорила, чтоб рассеять поскорей ее досаду и показать, что я вовсе не виновата в словах француженки, но Катя промолчала, как будто не слыхала меня.

Через час она вошла в ту комнату, где я сидела за книгой, все раздумывая о Кате, пораженная и испуганная тем, что она опять не хочет со мной говорить. Она посмотрела на меня исподлобья, уселась, по обыкновению, на диване и полчаса не спускала с меня глаз. Наконец я не выдержала и взглянула на нее вопросительно.

– Вы умеете танцевать? – спросила Катя.

– Нет, не умею.

– А я умею.

Молчание.

– А на фортепиано играете?

– Тоже нет.

– А я играю. Этому очень трудно выучиться.

Я смолчала.

– Мадам Леотар говорит, что вы умнее меня.

– Мадам Леотар на вас рассердилась, – отвечала я.

– А разве папа будет тоже сердиться?

– Не знаю, – отвечала я.

Опять молчание; княжна в нетерпении била по полу своей маленькой ножкой.

– Так вы надо мной будете смеяться, оттого что лучше меня понимаете? – спросила она наконец, не выдержав более своей досады.

– Ох, нет, нет! – закричала я и вскочила с места, чтоб броситься к ней и обнять ее.

– И вам не стыдно так думать и спрашивать об этом, княжна? – раздался вдруг голос мадам Леотар, которая уже пять минут наблюдала за нами и слышала наш разговор. – Стыдитесь! вы стали завидовать бедному ребенку и хвалиться перед ней, что умеете танцевать и играть на фортепиано. Стыдно; я все расскажу князю.

Щеки княжны загорелись, как зарево.

– Это дурное чувство. Вы ее обидели своими вопросами. Родители ее были бедные люди и не могли ей нанять учителей; она сама училась, потому что у ней хорошее, доброе сердце. Вы бы должны были любить ее, а вы хотите с ней ссориться. Стыдитесь, стыдитесь! Ведь она –

сиротка. У ней нет никого. Еще бы вы похвалились перед ней, что вы княжна, а она нет. Я вас оставляю одну. Подумайте о том, что я вам говорила, исправьтесь.

Княжна думала ровно два дня! Два дня не было слышно ее смеха и крика. Проснувшись ночью, я подслушала, что она даже во сне продолжает рассуждать с мадам Леотар. Она даже похудела немного в эти два дня, и румянец не так живо играл на ее светленьком личике. Наконец на третий день мы обе сошлись внизу, в больших комнатах. Княжна шла от матери, но, увидев меня, остановилась и села недалеко, напротив. Я со страхом ожидала, что будет, дрожала всеми членами.

– Неточка, за что меня бранили за вас? – спросила она наконец.

– Это не за меня, Катенька, – отвечала я, спеша оправдаться.

– А мадам Леотар говорит, что я вас обидела.

– Нет, Катенька, нет, вы меня не обидели.

Княжна вскинула плечиками в знак недоуменья.

– Отчего ж вы все плачете? – спросила она после некоторого молчания.

– Я не буду плакать, если вы хотите, – отвечала я сквозь слезы.

Она опять пожала плечами.

– Вы и прежде все плакали?

Я не отвечала.

– Зачем вы у нас живете? – спросила вдруг княжна, помолчав.

Я посмотрела на нее в изумлении, и как будто что-то кольнуло мне в сердце.

– Оттого, что я сиротка, – ответила я наконец, собравшись с духом.

– У вас были папа и мама?

– Были.

– Что, они вас не любили?

– Нет… любили, – отвечала я через силу.

– Они были бедные?

– Да.

– Очень бедные?

– Да.

– Они вас ничему не учили?

– Читать учили.

– У вас были игрушки?

– Нет.

– Пирожное было?

– Нет.

– У вас было сколько комнат?

– Одна.

– Одна комната?

– Одна.

– А слуги были?

– Нет, не было слуг.

– А кто ж вам служил?

– Я сама покупать ходила.

Вопросы княжны все больше и больше растравляли мне сердце. И воспоминания, и мое одиночество, и удивление княжны – все это поражало, обижало мое сердце, которое обливалось кровью. Я вся дрожала от волнения и задыхалась от слез.

– Вы, стало быть, рады, что у нас живете?

Я молчала.

– У вас было платье хорошее?

– Нет.

– Дурное?

– Да.

– Я видела ваше платье, мне его показывали.

– Зачем же вы меня спрашиваете? – сказала я, вся задрожав от какого-то нового,

неведомого для меня ощущения и подымаясь с места. – Зачем же вы меня спрашиваете? – продолжала я, покраснев от негодования. – Зачем вы надо мной смеетесь?

Княжна вспыхнула и тоже встала с места, но мигом преодолела свое волнение.

– Нет… я не смеюсь, – отвечала она. – Я только хотела знать, правда ли, что папа и мама у вас были бедны?

– Зачем вы спрашиваете про папу и маму? – сказала я, заплакав от душевной боли. – Зачем вы так про них спрашиваете? Что они вам сделали, Катя?

Катя стояла в смущении и не знала, что отвечать. В эту минуту вошел князь.

– Что с тобой, Неточка? – спросил он, взглянув на меня и увидев мои слезы, – что с тобой? – продолжал он, взглянув на Катю, которая была красна, как огонь, – о чем вы говорили? За что вы поссорились? Неточка, за что вы поссорились?

Но я не могла отвечать. Я схватила руку князя и со слезами целовала ее.

– Катя, не лги. Что здесь было?

Катя лгать не умела.

– Я сказала, что видела, какое у нее было дурное платье, когда еще она жила с папой и мамой.

– Кто тебе показывал? Кто смел показать?

– Я сама видела, – отвечала Катя решительно.

– Ну, хорошо! Ты не скажешь на других, я тебя знаю. Что же дальше?

– А она заплакала и сказала: зачем я смеюсь над папой и над мамой?

– Стало быть, ты смеялась над ними?

Хоть Катя и не смеялась, но, знать, в ней было такое намерение, когда я с первого разу так поняла. Она не отвечала ни слова: значит, тоже соглашалась в проступке.

– Сейчас же подойди к ней и проси у нее прощения, – сказал князь, указав на меня.

Княжна стояла бледная, как платок, и не двигаясь с места.

– Ну? – сказал князь.

– Я не хочу, – проговорила наконец Катя вполголоса и с самым решительным видом.

– Катя!

– Нет, не хочу, не хочу! – закричала она вдруг, засверкав глазками и затопав ногами. – Не хочу, папа, прощения просить. Я не люблю ее. Я не буду с нею вместе жить… Я не виновата, что она целый день плачет. Не хочу, не хочу!

– Пойдем со мной, – сказал князь, схватил ее за руку и повел к себе в кабинет. – Неточка, ступай наверх.

Я хотела броситься к князю, хотела просить за Катю, но князь строго повторил свое приказание, и я пошла наверх, похолодев от испуга, как мертвая. Придя в нашу комнату, я упала на диван и закрыла руками голову. Я считала минуты, ждала Катю с нетерпением, хотела броситься к ногам ее. Наконец она воротилась, не сказав мне ни слова, прошла мимо меня и села в угол. Глаза ее были красны, щеки опухли от слез. Вся решимость моя исчезла. Я смотрела на нее в страхе и от страха не могла двинуться с места.

Я всеми силами обвиняла себя, всеми силами старалась доказать себе, что я во всем виновата. Тысячу раз хотела я подойти к Кате и тысячу раз останавливалась, не зная, как она меня примет. Так прошел день, другой. К вечеру другого дня Катя сделалась веселей и погнала было свой обруч по комнатам, но скоро бросила свою забаву и села одна в угол. Перед тем как ложиться спать, она вдруг оборотилась было ко мне, даже сделала ко мне два шага, и губки ее раскрылись сказать мне что-то такое, но она остановилась, воротилась и легла в постель. За тем днем прошел еще день, и удивленная мадам Леотар начала наконец допрашивать Катю: что с ней сделалось? не больна ли она, что вдруг затихла? Катя отвечала что-то, взялась было за волан, но только что отворотилась мадам Леотар, – покраснела и заплакала. Она выбежала из комнаты, чтоб я не видала ее. И наконец все разрешилось: ровно через три дня после нашей ссоры она вдруг после обеда вошла в мою комнату и робко приблизилась ко мне.

– Папа приказал, чтоб я у вас прощения просила, – проговорила она, – вы меня простите?

Я быстро схватила Катю за обе руки и, задыхаясь от волнения, сказала:

– Да! да!

– Папа приказал поцеловаться с вами, – вы меня поцелуете?

В ответ я начала целовать ее руки, обливая их слезами. Взглянув на Катю, я увидала в ней какое-то необыкновенное движение. Губки ее слегка потрогивались, подбородок вздрагивал, глазки повлажнели, но она мигом преодолела свое волнение, и улыбка на миг проглянула на губах ее.

– Пойду скажу папе, что я вас поцеловала и просила прощения, – сказала она потихоньку, как бы размышляя сама с собою. – Я уже его три дня не видала; он не велел и входить к себе без того, – прибавила она, помолчав.

И, проговорив это, она робко и задумчиво сошла вниз, как будто еще не уверилась: каков будет прием отца.

Но через час наверху раздался крик, шум, смех, лай Фальстафа, что-то опрокинулось и разбилось, несколько книг полетело на пол, обруч загудел и запрыгал по всем комнатам, – одним словом, я узнала, что Катя помирилась с отцом, и сердце мое задрожало от радости.

Но ко мне она не подходила и, видимо, избегала разговоров со мною. Взамен того я имела честь в высшей степени возбудить ее любопытство. Садилась она напротив меня, чтоб удобнее меня рассмотреть, все чаще и чаще. Наблюдения ее надо мной делались наивные; одним словом, избалованная, самовластная девочка, которую все баловали и лелеяли в доме, как сокровище, не могла понять, каким образом я уже несколько раз встречалась на ее пути, когда она вовсе не хотела встречать меня. Но это было прекрасное, доброе маленькое сердце, которое всегда умело сыскать себе добрую дорогу уже одним инстинктом. Всего более влияния имел на нее отец, которого она обожала. Мать безумно любила ее, но была с нею ужасно строга, и у ней переняла Катя упрямство, гордость и твердость характера, но переносила на себе все прихоти матери, доходившие даже до нравственной тирании. Княгиня как-то странно понимала, что такое воспитание, и воспитание Кати было странным контрастом беспутного баловства и неумолимой строгости. Что вчера позволялось, то вдруг, без всякой причины, запрещалось сегодня, и чувство справедливости оскорблялось в ребенке… Но впереди еще эта история… Замечу только, что ребенок уже умел определить свои отношения к матери и отцу. С последним она была как есть, вся наружу, без утайки, открыта. С матерью совершенно напротив – замкнута, недоверчива и беспрекословно послушна. Но послушание ее было не по искренности и убеждению, а по необходимой системе. Я объяснюсь впоследствии. Впрочем, к особенной чести моей Кати скажу, что она поняла наконец свою мать, и когда подчинилась ей, то уже вполне осмыслив всю безграничность любви ее, доходившей иногда до болезненного исступления, – и княжна великодушно ввела в свой расчет последнее обстоятельство. Увы! этот расчет мало помог потом ее горячей головке!

Но я почти не понимала, что со мной делается. Все во мне волновалось от какого-то нового, необъяснимого ощущения, и я не преувеличу, если скажу, что страдала, терзалась от этого нового чувства. Короче – и пусть простят мне мое слово – я была влюблена в мою Катю. Что влекло меня к ней? отчего родилась такая любовь? Она началась с первого взгляда на нее, когда все чувства мои были сладко поражены видом прелестного, как ангел, ребенка. Все в ней было прекрасно; ни один из пороков ее не родился вместе с нею, – все были привиты, и все находились в состоянии борьбы. Всюду было видно прекрасное начало, принявшее на время ложную форму; но все в ней, начиная с этой борьбы, сияло отрадною надеждой, все предвещало прекрасное будущее. Все любовались ею, все любили ее, не я одна. Когда, бывало, нас выводили часа в три гулять, все прохожие останавливались как пораженные, едва только взглядывали на нее, и нередко крик изумления раздавался вслед счастливому ребенку. Она родилась на счастие, она должна была родиться для счастия, – вот было первое впечатление при встрече с нею. Может быть, во мне первый раз поражено было эстетическое чувство, чувство изящного, первый раз сказалось оно, пробужденное красотой, и вот вся причина зарождения любви моей.

Главным пороком княжны, или, лучше сказать, главным началом ее характера, которое неудержимо старалось воплотиться в свою натуральную форму и, естественно, находилось в состоянии уклоненном, в состоянии борьбы, – была гордость. Эта гордость доходила до наивных мелочей и впадала в самолюбие до того, что, например, противоречие, каково бы оно ни было, не обижало, не сердило ее, но только удивляло. Она не могла постигнуть, как может быть что-нибудь иначе, нежели как бы она захотела. Но чувство справедливости всегда брало

верх в ее сердце. Если убеждалась она, что она несправедлива, то тотчас же подчинялась приговору безропотно и неколебимо. И если до сих пор в отношениях со мною изменяла она себе, то я объясняю все это непостижимой антипатией ко мне, помутившей на время стройность и гармонию всего ее существа; так и должно было быть: она слишком страстно шла в своих увлечениях, и всегда только пример, опыт выводил ее на истинный путь. Результаты всех ее начинаний были прекрасны и истинны, но покупались беспрерывными уклонениями и заблуждениями.

Катя очень скоро удовлетворила свои наблюдения надо мною и наконец решилась оставить меня в покое. Она сделала так, как будто меня и не было в доме; мне – ни слова лишнего, даже почти необходимого; я устранена от игр, и устранена не насильно, но так ловко, как будто бы я сама на то согласилась. Уроки шли своим чередом, и если меня ставили ей в пример за понятливость и тихость характера, то я уже не имела чести оскорблять ее самолюбия, которое было чрезвычайно щекотливо, до того, что его мог оскорбить даже бульдог наш, сэр Джон Фальстаф. Фальстаф был хладнокровен и флегматик, но зол, как тигр, когда его раздражали, зол даже до отрицания власти хозяина. Еще черта: он решительно никого не любил; но самым сильным, натуральным врагом его была, бесспорно, старушка княжна… Но эта история еще впереди. Самолюбивая Катя всеми средствами старалась победить нелюбезность Фальстафа; ей было неприятно, что есть хоть одно животное в доме, единственное, которое не признает ее авторитета, ее силы, не склоняется перед нею, не любит ее. И вот княжна порешила атаковать Фальстафа сама. Ей хотелось над всеми повелевать и властвовать; как же мог Фальстаф избежать своей участи? Но непреклонный бульдог не сдавался.

Раз, после обеда, когда мы обе сидели внизу, в большой зале, бульдог расположился среди комнаты и лениво наслаждался своим послеобеденным кейфом[9]. В эту самую минуту княжне вздумалось завоевать его в свою власть. И вот она бросила свою игру и на цыпочках, лаская и приголубливая Фальстафа самыми нежными именами, приветливо маня его рукой, начала осторожно приближаться к нему. Но Фальстаф еще издали оскалил свои страшные зубы; княжна остановилась. Все намерение ее состояло в том, чтоб, подойдя к Фальстафу, погладить его, чего он решительно не позволял никому, кроме княгини, у которой был фаворитом, и заставить его идти за собой: подвиг трудный, сопряженный с серьезной опасностью, потому что Фальстаф никак не затруднился бы отгрызть у ней руку или растерзать ее, если б нашел это нужным. Он был силен, как медведь, и я с беспокойством, со страхом следила издали за проделками Кати. Но ее нелегко было переубедить с первого раза, и даже зубы Фальстафа, которые он пренеучтиво показывал, были решительно недостаточным к тому средством. Убедясь, что подойти нельзя с первого раза, княжна в недоумении обошла кругом своего неприятеля. Фальстаф не двинулся с места. Катя сделала второй круг, значительно уменьшив его поперечник, потом третий, но когда дошла до того места, которое казалось Фальстафу заветной чертой, он снова оскалил зубы. Княжна топнула ножкой, отошла в досаде и раздумье и уселась на диван.

Минут через десять она выдумала новое обольщение, тотчас же вышла и воротилась с запасом кренделей, пирожков, – одним словом, переменила оружие. Но Фальстаф был хладнокровен, потому, вероятно, что был слишком сыт. Он даже не взглянул на кусок кренделя, который ему бросили; когда же княжна снова очутилась у заветной черты, которую Фальстаф считал своей границей, последовала оппозиция, в этот раз позначительнее первой. Фальстаф поднял голову, оскалил зубы, слегка заворчал и сделал легкое движение, как будто собирался рвануться с места. Княжна покраснела от гнева, бросила пирожки и снова уселась на место.

Она сидела вся в решительном волнении. Ее ножка била ковер, щечки краснели, как зарево, а в глазах даже выступили слезы досады. Случись же, что она взглянула на меня, – вся кровь бросилась ей в голову. Она решительно вскочила с места и самою твердою поступью пошла прямо к страшной собаке.

Может быть, в этот раз изумление подействовало на Фальстафа слишком сильно. Он

---

9 *Кейф* – приятное безделье и отдых *(англ.)*.

пустил врага за черту и только уже в двух шагах приветствовал безрассудную Катю самым зловещим рычанием. Катя остановилась было на минуту, но только на минуту, и решительно ступила вперед. Я обомлела от испуга. Княжна была воодушевлена, как я еще никогда ее не видала; глаза ее блистали победой, торжеством. С нее можно было рисовать чудную картину. Она смело вынесла грозный взгляд взбешенного бульдога и не дрогнула перед его страшною пастью; он привстал. Из мохнатой груди его раздалось ужасное рыкание; еще минута, и он бы растерзал ее. Но княжна гордо положила на него свою маленькую ручку и три раза с торжеством погладила его по спине. Мгновение бульдог был в нерешимости. Это мгновение было самое ужасное; но вдруг он тяжело поднялся с места, потянулся и, вероятно взяв в соображение, что с детьми не стоило связываться, преспокойно вышел из комнаты. Княжна с торжеством стала на завоеванном месте и бросила на меня неизъяснимый взгляд, взгляд пресыщенный, упоенный победою. Но я была бледна, как платок; она заметила и улыбнулась. Однако смертная бледность уже покрывала и ее щеки. Она едва могла дойти до дивана и упала на него чуть не в обмороке.

Но влечение мое к ней уже не знало пределов. С этого дня, как я вытерпела за нее столько страха, я уже не могла владеть собою. Я изнывала в тоске, тысячу раз готова была броситься к ней на шею, но страх приковывал меня, без движения, на месте. Помню, я старалась убегать ее, чтоб она не видала моего волнения, но когда она нечаянно входила в ту комнату, в которую я спрячусь, я вздрагивала, и сердце начинало стучать так, что голова кружилась. Мне кажется, моя проказница это заметила и дня два была сама в каком-то смущении. Но скоро она привыкла и к этому порядку вещей. Так прошел целый месяц, который я весь пространала втихомолку. Чувства мои обладают какой-то необъяснимою растяжимостью, если можно так выразиться; моя натура терпелива до последней степени, так что взрыв, внезапное проявление чувств бывает только уж в крайности. Нужно знать, что во все это время мы сказали с Катей не более пяти слов; но я мало-помалу заметила, по некоторым неуловимым признакам, что все это происходило в ней не от забвения, не от равнодушия ко мне, а от какого-то намеренного уклонения, как будто она дала себе слово держать меня в известных пределах. Но я уже не спала по ночам, а днем не могла скрыть своего смущения даже от мадам Леотар. Любовь моя к Кате доходила даже до странностей. Один раз я украдкою взяла у ней платок, в другой раз ленточку, которую она вплетала в волосы, и по целым ночам целовала их, обливаясь слезами. Сначала меня мучило до обиды равнодушие Кати; но теперь все во мне помутилось, и я сама не могла дать себе отчета в своих ощущениях. Таким образом, новые впечатления мало-помалу вытесняли старые, и воспоминания о моем грустном прошедшем потеряли свою болезненную силу и сменились во мне новой жизнию.

Помню, я иногда просыпалась ночью, вставала с постели и на цыпочках подходила к княжне. Я заглядывалась по целым часам на спящую Катю при слабом свете ночной нашей лампы; иногда садилась к ней на кровать, нагибалась к лицу ее, и на меня веяло ее горячим дыханием. Тихонько, дрожа от страха, целовала я ее ручки, плечики, волосы, ножку, если ножка выглядывала из-под одеяла. Мало-помалу я заметила, – так как я уже не спускала с нее глаз целый месяц, – что Катя становится со дня на день задумчивее; характер ее стал терять свою ровность: иногда целый день не слышишь ее шума, другой раз подымется такой гам, какого еще никогда не было. Она стала раздражительна, взыскательна, краснела и сердилась очень часто и даже со мной доходила до маленьких жестокостей: то вдруг не захочет обедать возле меня, близко сидеть от меня, как будто чувствует ко мне отвращение; то вдруг уходит к матери и сидит там по целым дням, может быть зная, что я иссыхаю без нее с тоски; то вдруг начнет смотреть на меня по целым часам, так что я не знаю, куда деваться от убийственного смущения, краснею, бледнею, а между тем не смею выйти из комнаты. Два раза уже Катя жаловалась на лихорадку, тогда как прежде не помнили за ней никакой болезни. Наконец вдруг в одно утро последовало особое распоряжение: по непременному желанию княжны она переселилась вниз, к маменьке, которая чуть не умерла от страха, когда Катя пожаловалась на лихорадку. Нужно сказать, что княгиня была очень недовольна мною и всю перемену в Кате, которую и она замечала, приписывала мне и влиянию моего угрюмого характера, как она выражалась, на характер своей дочери. Она уже давно разлучила бы нас, но откладывала до времени, зная, что придется выдержать серьезный спор с князем, который хотя и уступал ей во

всем, но иногда становился неуступчив и упрям до непоколебимости. Она же понимала князя вполне.

Я была поражена переселением княжны и целую неделю провела в самом болезненном напряжении духа. Я мучилась тоскою, ломая голову над причинами отвращения Кати ко мне. Грусть разрывала мою душу, и чувство справедливости и негодования начало восставать в моем оскорбленном сердце. Какая-то гордость вдруг родилась во мне, и когда мы сходились с Катей в тот час, когда нас уводили гулять, я смотрела на нее так независимо, так серьезно, так непохоже на прежнее, что это даже поразило ее. Конечно, такие перемены происходили во мне только порывами и потом сердце опять начинало болеть сильнее и сильнее, и я становилась еще слабее, еще малодушнее, чем прежде. Наконец в одно утро, к величайшему моему недоумению и радостному смущению, княжна воротилась наверх. Сначала она с безумным смехом бросилась на шею к мадам Леотар и объявила, что опять к нам переезжает, потом кивнула и мне головой, выпросила позволения ничему не учиться в это утро и все утро прорезвилась и пробегала. Я никогда не видала ее живее и радостнее. Но к вечеру она сделалась тиха, задумчива, и снова какая-то грусть отенила ее прелестное личико. Когда княгиня пришла вечером посмотреть на нее, я видела, что Катя делает неестественные усилия казаться веселою. Но, вслед за уходом матери, оставшись одна, она вдруг ударилась в слезы. Я была поражена. Княжна заметила мое внимание и вышла. Одним словом, в ней приготовлялся какой-то неожиданный кризис. Княгиня советовалась с докторами, каждый день призывала к себе мадам Леотар для самых мелких расспросов о Кате; велено было наблюдать за каждым движением ее. Одна только я предчувствовала истину, и сильно забилось мое сердце надеждою.

Словом, маленький роман разрешался и приходил к концу. На третий день после возвращения Кати к нам наверх я заметила, что она все утро глядит на меня такими чу́дными глазками, такими долгими взглядами… Несколько раз я встречала эти взгляды, и каждый раз мы обе краснели и потуплялись, как будто стыдились друг друга. Наконец княжна засмеялась и пошла от меня прочь. Ударило три часа, и нас стали одевать для прогулки. Вдруг Катя подошла ко мне.

– У вас башмак развязался, – сказала она мне, – давайте я завяжу.

Я было нагнулась сама, покраснев, как вишня, оттого, что наконец-то Катя заговорила со мной.

– Давай! – сказала она нетерпеливо и засмеявшись. Тут она нагнулась, взяла насильно мою ногу, поставила к себе на колено и завязала. Я задыхалась; я не знала, что делать от какого-то сладостного испуга. Кончив завязывать башмак, она встала и оглядела меня с ног до головы.

– Вот и горло открыто, – сказала она, дотронувшись пальчиком до обнаженного тела на моей шее. – Да уж давай я сама завяжу.

Я не противоречила. Она развязала мой шейный платочек и повязала по-своему.

– А то можно кашель нажить, – сказала она, прелукаво улыбнувшись и сверкнув на меня своими черными влажными глазками. Я была вне себя; я не знала, что со мной делается и что сделалось с Катей. Но, слава богу, скоро кончилась наша прогулка, а то я бы не выдержала и бросилась бы целовать ее на улице. Всходя на лестницу, мне удалось, однако ж, поцеловать ее украдкой в плечо. Она заметила, вздрогнула, но не сказала ни слова. Вечером ее нарядили и повели вниз. У княгини были гости. Но в этот вечер в доме произошла страшная суматоха.

С Катей сделался нервный припадок. Княгиня была вне себя от испуга. Приехал доктор и не знал, что сказать. Разумеется, все свалили на детские болезни, на возраст Кати, но я подумала иное. Наутро Катя явилась к нам такая же, как всегда, румяная, веселая, с неистощимым здоровьем, но с такими причудами и капризами, каких с ней никогда не бывало.

Во-первых, она все утро не слушалась мадам Леотар. Потом вдруг ей захотелось идти к старушке княжне. Против обыкновения, старушка, которая терпеть не могла свою племянницу, была с нею в постоянной ссоре и не хотела видеть ее, на этот раз как-то разрешила принять ее. Сначала все пошло хорошо, и первый час они жили согласно. Плутовка Катя вздумала просить прощения за все свои проступки, за резвость, за крик, за то, что княжне она не давала покою. Княжна торжественно и со слезами простила ее. Но шалунье вздумалось зайти далеко. Ей пришло на ум рассказать такие шалости, которые были еще только в одних замыслах и

проектах. Катя прикинулась смиренницей, постницей и вполне раскаивающейся; одним словом, ханжа была в восторге, и много льстила ее самолюбию предстоявшая победа над Катей – сокровищем, идолом всего дома, которая умела заставить даже свою мать исполнять свои прихоти.

И вот проказница призналась, во-первых, что у нее было намерение приклеить к платью княжны визитную карточку; потом засадить Фальстафа к ней под кровать; потом сломать ее очки, унесть все ее книги и принесть вместо них от мамы французских романов; потом достать хлопушек и разбросать по полу; потом спрятать ей в карман колоду карт и т. д. и т. д. Одним словом, шли шалости одна хуже другой. Старуха выходила из себя, бледнела, краснела от злости; наконец Катя не выдержала, захохотала и убежала от тетки. Старуха немедленно послала за княгиней. Началось целое дело, и княгиня два часа со слезами на глазах умоляла свою родственницу простить Катю и позволить ее не наказывать, взяв в соображение, что она больна. Княжна слушать не хотела сначала; она объявила, что завтра же выедет из дому, и смягчилась тогда только, когда княгиня дала слово, что отложит наказание до выздоровления дочери, а потом удовлетворит справедливому негодованию престарелой княжны. Однако ж Катя выдержала строгий выговор. Ее увели вниз, к княгине.

Но проказница вырвалась-таки после обеда. Пробираясь вниз, сама я встретила ее уже на лестнице. Она приотворила дверь и звала Фальстафа. Я мигом догадалась, что она замышляет страшное мщение. Дело было вот в чем.

Не было врага у старушки княжны непримиримее Фальстафа. Он не ласкался ни к кому, не любил никого, но был спесив, горд и амбициозен до крайности. Он не любил никого, но, видимо, требовал от всех должного уважения. Все и питали его к нему, примешивая к уважению надлежащий страх. Но вдруг, с приездом старушки княжны, все переменилось: Фальстафа страшно обидели, – именно: ему был формально запрещен вход наверх.

Сначала Фальстаф был вне себя от оскорбления и целую неделю скреб лапами дверь, которою оканчивалась лестница, ведущая сверху в нижнюю комнату; но скоро он догадался о причине изгнания, и в первое же воскресенье, когда старушка княжна выходила в церковь, Фальстаф с визгом и лаем бросился на бедную. Насилу спасли ее от лютого мщения оскорбленного пса, ибо он выгнан был по приказанию княжны, которая объявила, что не может видеть его. С тех пор вход наверх запрещен был Фальстафу самым строжайшим образом, и когда княжна сходила вниз, то его угоняли в самую отдаленную комнату. Строжайшая ответственность лежала на слугах. Но мстительное животное нашло-таки средство раза три ворваться наверх. Лишь только он врывался на лестницу, как мигом бежал через всю анфиладу комнат до самой опочивальни старушки. Ничто не могло удержать его. По счастию, дверь к старушке была всегда заперта, и Фальстаф ограничивался тем, что завывал перед нею ужасно, до тех пор, пока не прибегали люди и не сгоняли его вниз. Княжна же во все время визита неукротимого бульдога кричала, как будто ее уж съели, и серьезно каждый раз делалась больна от страха. Несколько раз она предлагала свой ultimatum[10] княгине и даже доходила до того, что раз, забывшись, сказала, что или она, или Фальстаф выйдут из дома; но княгиня не согласилась на разлуку с Фальстафом.

Княгиня мало кого любила, но Фальстафа, после детей, более всех на свете, и вот почему. Однажды, лет шесть назад, князь воротился с прогулки, приведя за собою щенка грязного, больного, самой жалкой наружности, но который, однако ж, был бульдог самой чистой крови. Князь как-то спас его от смерти. Но так как новый жилец вел себя примерно неучтиво и грубо, то, по настоянию княгини, был удален на задний двор и посажен на веревку. Князь не прекословил. Два года спустя, когда весь дом жил на даче, маленький Саша, младший брат Кати, упал в Неву. Княгиня вскрикнула, и первым движением ее было кинуться в воду за сыном. Ее насилу спасли от верной смерти. Между тем ребенка уносило быстро течением, и только одежда его всплывала наверх.

Наскоро стали отвязывать лодку, но спасение было бы чудом. Вдруг огромный исполинский бульдог бросается в воду наперерез утопающему мальчику, схватывает его в зубы

---

10 Ультиматум *(лат.)*.

и победоносно выплывает с ним на берег. Княгиня бросилась целовать грязную, мокрую собаку. Но Фальстаф, который еще носил тогда прозаическое и в высшей степени плебейское наименование Фриксы, терпеть не мог ничьих ласк и отвечал на объятия и поцелуи княгини тем, что прокусил ей плечо во сколько хватило зубов. Княгиня всю жизнь страдала от этой раны, но благодарность ее была беспредельна. Фальстаф был взят во внутренние покои, вычищен, вымыт и получил серебряный ошейник высокой отделки. Он поселился в кабинете княгини, на великолепной медвежьей шкуре, и скоро княгиня дошла до того, что могла его гладить, не опасаясь немедленного и скорого наказания. Узнав, что любимца ее зовут Фриксой, она пришла в ужас, и немедленно стали приискивать новое имя, по возможности древнее. Но имена Гектор, Цербер и проч. были уже слишком опошлены; требовалось название, вполне приличное фавориту дома. Наконец князь, взяв в соображение феноменальную прожорливость Фриксы, предложил назвать бульдога Фальстафом. Кличка была принята с восторгом и осталась навсегда за бульдогом. Фальстаф повел себя хорошо: как истый англичанин, был молчалив, угрюм и ни на кого не бросался первый, только требовал, чтоб почтительно обходили его место на медвежьей шкуре и вообще оказывали должное уважение. Иногда на него находил как будто родимец, как будто сплин одолевал его, и в эти минуты Фальстаф с горестию припоминал, что враг его, непримиримый враг, посягнувший на его права, был еще не наказан. Тогда он потихоньку пробирался к лестнице, ведущей наверх, и, найдя, по обыкновению, дверь всегда запертою, ложился где-нибудь неподалеку, прятался в угол и коварно поджидал, когда кто-нибудь оплошает и оставит дверь наверх отпертою. Иногда мстительное животное выжидало по три дня. Но отданы были строгие приказания – наблюдать за дверью, и вот уже два месяца Фальстаф не являлся наверх.

– Фальстаф! Фальстаф! – звала княжна, отворив дверь и приветливо заманивая Фальстафа к нам на лестницу.

В это время Фальстаф, почуяв, что дверь отворяют, уже приготовился скакнуть за свой Рубикон[11]. Но призыв княжны показался ему так невозможным, что он некоторое время решительно отказывался верить ушам своим. Он был лукав, как кошка, и, чтоб не показать вида, что заметил оплошность отворявшего дверь, подошел к окну, положил на подоконник свои могучие лапы и начал рассматривать противоположное здание, – словом, вел себя как совершенно посторонний человек, который шел прогуливаться и остановился на минуту полюбоваться прекрасной архитектурой соседнего здания. Между тем в сладостном ожидании билось и нежилось его сердце. Каково же было его изумление, радость, исступление радости, когда дверь отворили перед ним всю настежь и, мало того, еще звали, приглашали, умоляли его вступить наверх и немедленно удовлетворить свое справедливое мщение! Он, взвизгнув от радости, оскалил зубы и, страшный, победоносный, бросился наверх как стрела.

Напор его был так силен, что встретившийся на его дороге стул, задетый им на лету, отскочил на сажень и перевернулся на месте. Фальстаф летел, как ядро, вырвавшееся из пушки. Мадам Леотар вскрикнула от ужаса, но Фальстаф уже домчался до заветной двери, ударился в нее обеими лапами, однако ж не отворил ее и завыл, как погибший. В ответ ему раздался страшный крик престарелой девы. Но уже со всех сторон бежали целые легионы врагов, целый дом переселился наверх, и Фальстаф, свирепый Фальстаф, с намордником, ловко наброшенным на его пасть, спутанный по всем четырем ногам, бесславно воротился с поля битвы, влекомый вниз на аркане.

Послан был посол за княгиней.

В этот раз княгиня не расположена была прощать и миловать; но кого наказывать? Она догадалась с первого раза, мигом; ее глаза упали на Катю… Так и есть: Катя стоит бледная, дрожа от страха. Она только теперь догадалась, бедненькая, о последствиях своей шалости. Подозрение могло упасть на слуг, на невинных, и Катя уже готова была сказать всю правду.

– Ты виновата? – строго спросила княгиня.

---

11 *Рубико́н* – река, отделявшая римскую провинцию Цизальпинская Галлия от Италии. Ее перешел со своим войском в 49 г. до н. э. римский полководец Гай Юлий Цезарь, начавший этим вторжением в Италию гражданскую войну. Так появилось крылатое выражение – «перейти Рубикон».

Я видела смертельную бледность Кати и, ступив вперед, твердым голосом произнесла:

– Я пустила Фальстафа… нечаянно, – прибавила я, потому что вся моя храбрость исчезла перед грозным взглядом княгини.

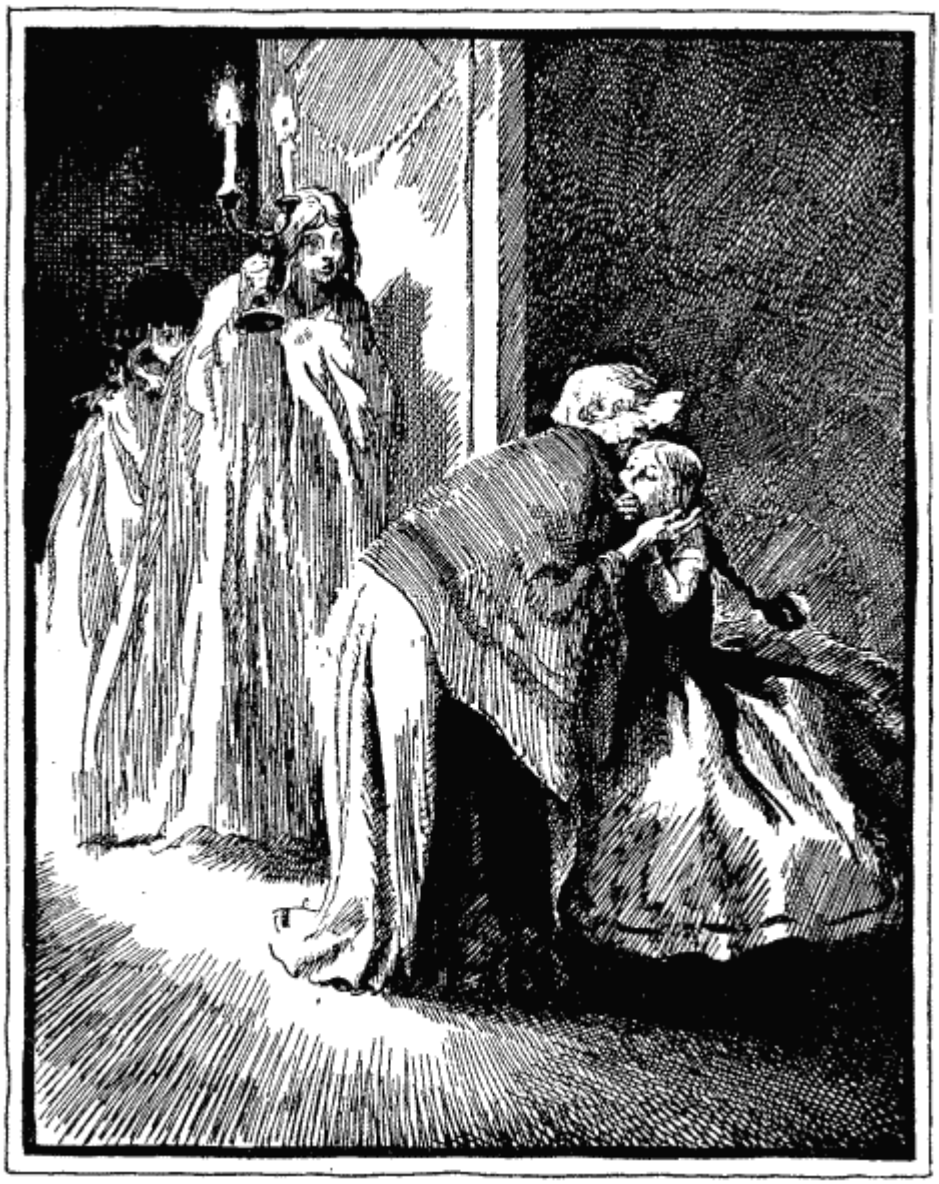
– Мадам Леотар, накажите примерно! – сказала княгиня и вышла из комнаты.

Я взглянула на Катю: она стояла как ошеломленная; руки ее повисли по бокам; побледневшее личико глядело в землю.

Единственное наказание, употреблявшееся для детей князя, было заключение в пустую комнату. Просидеть в пустой комнате часа два – ничего. Но когда ребенка сажали насильно, против его воли, и объявляли, что он лишен свободы, то наказание было довольно значительно. Обыкновенно сажали Катю или брата ее на два часа. Меня посадили на четыре, взяв в соображение всю чудовищность моего преступления. Изнывая от радости, вступила я в свою темницу. Я думала о княжне. Я знала, что победила. Но вместо четырех часов я просидела до четырех утра. Вот как это случилось.

Через два часа после моего заключения мадам Леотар узнала, что приехала ее дочь из Москвы, вдруг заболела и желает ее видеть. Мадам Леотар уехала, позабыв обо мне. Девушка, ходившая за нами, вероятно, предположила, что я уже выпущена. Катя была отозвана вниз и принуждена была просидеть у матери до одиннадцати часов вечера. Воротясь, она чрезвычайно изумилась, что меня нет на постели. Девушка раздела ее, уложила, но княжна имела свои причины не спрашивать обо мне. Она легла, поджидая меня, зная наверно, что я арестована на четыре часа, и полагая, что меня приведет наша няня. Но Настя забыла про меня совершенно, тем более что я раздевалась всегда сама. Таким образом, я осталась ночевать под арестом.

В четыре часа ночи услышала я, что стучат и ломятся в мою комнату. Я спала, улегшись кое-как на полу, проснулась и закричала от страха, но тотчас же отличила голос Кати, который раздавался громче всех, потом голос мадам Леотар, потом испуганной Насти, потом ключницы. Наконец отворили дверь, и мадам Леотар обняла меня со слезами на глазах, прося простить ее за то, что она обо мне позабыла. Я бросилась к ней на шею вся в слезах. Я продрогла от холода, и все кости болели у меня от лежанья на голом полу. Я искала глазами Катю, но она побежала в нашу спальню, прыгнула в постель, и когда я вошла, она уже спала или притворялась спящею. Поджидая меня с вечера, она невзначай заснула и проспала до четырех часов утра. Когда же проснулась, подняла шум, целый содом, разбудила воротившуюся мадам Леотар, няню, всех девушек и освободила меня.



Наутро все в доме узнали о моем приключении; даже княгиня сказала, что со мной поступили слишком строго. Что же касается князя, то в этот день я его видела в первый раз в жизни рассерженным. Он вошел наверх в десять часов утра в сильном волнении.

– Помилуйте, – начал он к мадам Леотар, – что вы делаете? Как вы поступили с бедным ребенком? Это варварство, чистое варварство, скифство! Больной, слабый ребенок, такая мечтательная, пугливая девочка, фантазерка, и посадить ее в темную комнату на целую ночь! Но это значит губить ее! Разве вы не знаете ее истории? Это варварство, это бесчеловечно, я вам говорю, сударыня! И как можно такое наказание? Кто изобрел, кто мог изобресть такое наказание?

Бедная мадам Леотар, со слезами на глазах, в смущении начала объяснять ему все дело, сказала, что она забыла обо мне, что к ней приехала дочь, но что наказание само в себе хорошее, если продолжается недолго, и что даже Жан Жак Руссо[12] говорит нечто подобное.

– Жан Жак Руссо, сударыня! Жан Жак дурной человек, сударыня!

– Жан Жак Руссо! Жан Жак дурной человек! Князь! князь, что вы говорите?

И мадам Леотар вся вспыхнула.

Мадам Леотар была чудесная женщина и прежде всего не любила обижаться; но

---

12 *Руссо́ Жан Жак* – французский просветитель XVIII в., автор педагогического романа «Эмиль, или О воспитании».

затронуть кого-нибудь из любимцев ее, потревожить классическую тень Корнеля, Расина, оскорбить Вольтера[13], назвать Жан Жака Руссо дурным человеком, назвать его варваром – боже мой! Слезы выступили из глаз мадам Леотар; старушка дрожала от волнения.

– Вы забываетесь, князь! – проговорила она наконец вне себя от волнения.

Князь тотчас же спохватился и попросил прощения, потом подошел ко мне, поцеловал меня с глубоким чувством, перекрестил и вышел из комнаты.

– Pauvre prince![14] – сказала мадам Леотар, расчувствовавшись в свою очередь.

Потом мы сели за классный стол. Но княжна училась очень рассеянно. Перед тем как идти к обеду, она подошла ко мне, вся разгоревшись, со смехом на губах, остановилась против меня, схватила меня за плечи и сказала торопливо, как будто чего-то стыдясь:

– Что? насиделась вчера за меня? После обеда пойдем играть в залу.

Кто-то прошел мимо нас, и княжна мигом отвернулась от меня.

После обеда, в сумерки, мы обе сошли вниз в большую залу, схватившись за руки. Княжна была в глубоком волнении и тяжело переводила дух. Я была радостна и счастлива, как никогда не бывала.

– Хочешь в мяч играть? – сказала она мне, – становись здесь!

Она поставила меня в одном углу залы, но сама, вместо того чтоб отойти и бросить мне мяч, остановилась в трех шагах от меня, взглянула на меня, покраснела и упала на диван, закрыв лицо обеими руками. Я сделала движение к ней; она думала, что я могу уйти.

– Не ходи, Неточка, побудь со мной, – сказала она, – это сейчас пройдет.

Но мигом она вскочила с места и, вся раскрасневшись, вся в слезах, бросилась мне на шею. Щеки ее были влажны, губки вспухли, как вишенки, локоны рассыпались в беспорядке. Она целовала меня как безумная, целовала мне лицо, глаза, губы, шею, руки; она рыдала, как в истерике; я крепко прижалась к ней, и мы сладко, радостно обнялись, как друзья, которые свиделись после долгой разлуки. Сердце Кати билось так сильно, что я слышала каждый удар.

Но в соседней комнате раздался голос. Звали Катю к княгине.

– Ах, Неточка! Ну! до вечера, до ночи! Ступай теперь наверх, жди меня.

Она поцеловала меня последний раз тихо, неслышно, крепко и бросилась от меня на зов Насти. Я прибежала наверх, как воскресшая, бросилась на диван, спрятала в подушки голову и зарыдала от восторга. Сердце колотилось, как будто грудь хотело пробить. Не помню, как дожила я до ночи. Наконец пробило одиннадцать, и я легла спать. Княжна воротилась только в двенадцать часов; она издали улыбнулась мне, но не сказала ни слова. Настя стала ее раздевать и как будто нарочно медлила.

– Скорее, скорее, Настя! – бормотала Катя.

– Что это вы, княжна, верно, бежали по лестнице, что у вас так сердце колотится?.. – спросила Настя.

– Ах, боже мой, Настя! какая скучная! Скорее, скорее! – И княжна в досаде ударила ножкой об пол.

– Ух, какое сердечко! – сказала Настя, поцеловав ножку княжны, которую разувала.

Наконец все было кончено, княжна легла, и Настя вышла из комнаты. Вмиг Катя вскочила с постели и бросилась ко мне. Я вскрикнула, встречая ее.

– Пойдем ко мне, ложись ко мне! – заговорила она, подняв меня с постели. Мгновенье спустя я была в ее постели, мы обнялись и жадно прижались друг к другу. Княжна зацеловала меня в пух.

– А ведь я помню, как ты меня ночью целовала! – сказала она, покраснев как мак.

Я рыдала.

– Неточка! – прошептала Катя сквозь слезы, – ангел ты мой, я ведь тебя так давно, так давно уж люблю! Знаешь, с которых пор?

---

13 *Корне́ль Пьер* и *Раси́н Жан Батист* – великие французские поэты-драматурги XVII в. *Вольте́р Франсуа Мари Аруэ* – французский просветитель XVIII в.; поэт, драматург, историк, публицист.

14 Бедный князь! *(фр.)*

– Когда?

– Как папа приказал у тебя прощения просить, тогда как ты за своего папу заступилась, Неточка… Си-ро-точка ты моя! – протянула она, снова осыпая меня поцелуями. Она плакала и смеялась вместе.

– Ах, Катя!

– Ну, что? ну, что?

– Зачем мы так долго… так долго… – и я не договорила. Мы обнялись и минуты три не говорили ни слова.

– Послушай, ты что думала про меня? – спросила княжна.

– Ах, как много думала, Катя! все думала, и день и ночь думала.

– И ночью про меня говорила, я слышала.

– Неужели?

– Плакала сколько раз.

– Видишь! Что ж ты все была такая гордая?

– Я ведь была глупа, Неточка. Это на меня так придет, и кончено. Я все зла была на тебя.

– За что?

– За то, что сама дурная была. Прежде за то, что ты лучше меня; потом за то, что тебя папа больше любит. А папа добрый человек, Неточка! да?

– Ах, да! – отвечала я со слезами, вспомнив про князя.

– Хороший человек, – серьезно сказала Катя, – да что мне с ним делать? он все такой… Ну, а потом стала у тебя прощенья просить и чуть не заплакала, и за это опять рассердилась.

– А я-то видела, а я-то видела, что ты плакать хотела.

– Ну, молчи ты, дурочка, плакса такая сама! – крикнула на меня Катя, зажав мне рот рукою. – Слушай, мне очень хотелось любить тебя, а потом вдруг ненавидеть захочется, и так ненавижу, так ненавижу!..

– За что же?

– Да уж я сердита на тебя была. Не знаю за что! А потом я и увидела, что ты без меня жить не можешь, и думаю: вот уж замучу я ее, скверную!

– Ах, Катя!

– Душка моя! – сказала Катя, целуя мне руку, – ну а потом я с тобой говорить не хотела, никак не хотела. А помнишь, Фальстафку я гладила?

– Ах ты, бесстрашная!

– Как я тру…си…ла-то, – протянула княжна. – Ты знаешь ли, почему я к нему пошла?

– Почему?

– Да ты смотрела. Когда увидела, что ты смотришь… ах! будь что будет, да и пошла. Испугала я тебя, а? Боялась ты за меня?

– Ужасть!

– Я видела. А уж я-то как рада была, что Фальстафка ушел! Господи, как я трусила потом, как он ушел, чу…до…вище этакое!

И княжна захохотала нервическим смехом; потом вдруг приподняла свою горячую голову и начала пристально глядеть на меня. Слезинки, как жемчужинки, дрожали на ее длинных ресницах.

– Ну, что в тебе есть, что я тебя так полюбила? Ишь, бледненькая, волосы белокуренькие, сама глупенькая, плакса такая, глаза голубенькие, си…ро…точка ты моя!!!

И Катя нагнулась опять без счету целовать меня. Несколько капель ее слез упали на мои щеки. Она была глубоко растрогана.

– Ведь как любила-то тебя, а все думаю – нет, да нет! не скажу ей! И ведь как упрямилась! Чего я боялась, чего я стыдилась тебя! Ведь смотри, как нам теперь хорошо!

– Катя! больно мне как! – сказала я, вся в исступлении от радости. – Душу ломит!

– Да, Неточка! Слушай дальше… да, слушай, кто тебя Неточкой прозвал?

– Мама.

– Ты мне все про маму расскажешь?

– Всё, всё, – отвечала я с восторгом.

– А куда ты два платка мои дела, с кружевами? а ленту зачем унесла? Ах ты,

бесстыдница! Я ведь это знаю.

Я засмеялась и покраснела до слез.

– Нет, думаю, помучу ее, подождет. А иной раз думаю: да я ее вовсе не люблю, я ее терпеть не могу. А ты все такая кроткая, такая овечка ты моя! А ведь как я боялась, что ты думаешь про меня, что я глупа! Ты умна, Неточка, ведь ты очень умна? а?

– Ну, что ты, Катя! – отвечала я, чуть не обидевшись.

– Нет, ты умна, – сказала Катя решительно и серьезно, – это я знаю. Только раз я утром встала и так тебя полюбила, что ужас! Ты мне во всю ночь снилась. Думаю, я к маме буду проситься и там буду жить. Не хочу я ее любить, не хочу! А на следующую ночь засыпаю и думаю: кабы она пришла, как и в прошлую ночь, а ты и пришла! Ах, как я притворялась, что сплю… Ах, какие мы бесстыдницы, Неточка!

– Да за что ж ты меня все любить не хотела?

– Так… да что я говорю! ведь я тебя все любила! все любила! Уж потом и терпеть не могла; думаю, зацелую я ее когда-нибудь или исщиплю всю до смерти. Вот тебе, глупенькая ты этакая!

И княжна ущипнула меня.

– А помнишь, я тебе башмак подвязывала?

– Помню.

– Помню; хорошо тебе было? Смотрю я на тебя: экая милочка, думаю: дай я ей башмак подвяжу, что она будет думать! Да так мне самой хорошо стало. И ведь, право, хотела поцеловаться с тобою… да и не поцеловала. А потом так смешно стало, так смешно! И всю дорогу, как гуляли вместе, так вот вдруг и хочу захохотать. На тебя смотреть не могу, так смешно. А ведь как я рада была, что ты за меня в темницу пошла.

Пустая комната называлась «темницей».

– А ты струсила?

– Ужас как струсила.

– Да не тому еще рада, что на себя сказала, а рада тому была, что ты за меня посидишь! Думаю: плачет она теперь, а я-то ее как люблю! Завтра буду ее так целовать, так целовать! И ведь не жалко, ей-богу, не жалко было тебя, хоть я и поплакала.

– А я-то вот и не плакала, нарочно рада была!

– Не плакала? ах ты злая! – закричала княжна.

– Катя, Катя! Боже мой, какая ты хорошенькая!

– Не правда ли? Ну, теперь что хочешь со мной, то и делай! Тирань меня, щипли меня! Пожалуйста, ущипни меня! Голубчик мой, ущипни!

– Шалунья!

– Ну, еще что?

– Дурочка…

– А еще?

– А еще поцелуй меня.

И мы целовались, плакали, хохотали.

– Неточка! во-первых, ты всегда будешь ко мне спать приходить. Потом я не хочу, чтобы ты была такая скучная. Отчего тебе скучно было? Ты мне расскажешь? а?

– Все расскажу; но мне теперь не скучно, а весело!

– Нет, уж будут у тебя румяные щеки, как у меня! Ах, кабы завтра поскорей пришло! Тебе хочется спать, Неточка?

– Нет.

– Ну, так давай говорить.

И часа два мы еще проболтали. Бог знает чего мы не переговорили. Во-первых, княжна сообщила мне все свои планы для будущего и настоящее положение вещей. И вот я узнала, что папу она любит больше всех, почти больше меня. Потом мы порешили обе, что мадам Леотар прекрасная женщина и что она вовсе не строгая. Далее мы тут же выдумали, что мы будем делать завтра, послезавтра, и вообще рассчитали жизнь чуть ли не на двадцать лет. Катя выдумала, что мы будем так жить: она мне будет один день приказывать, а я все исполнять, а другой день наоборот – я приказывать, а она беспрекословно слушаться; а потом мы обе будем

поровну друг другу приказывать; а там кто-нибудь нарочно не послушается, так мы сначала поссоримся, так, для виду, а потом как-нибудь поскорее помиримся. Одним словом, нас ожидало бесконечное счастие. Наконец мы утомились болтать, у меня закрывались глаза. Катя смеялась надо мной, что я соня, и сама заснула прежде меня. Наутро мы проснулись разом; поцеловались наскоро, потому что к нам входили, и я успела добежать до своей кровати.

Весь день мы не знали, что делать друг с другом от радости. Мы все прятались и бегали от всех, более всего опасаясь чужого глаза. Наконец я начала ей свою историю. Катя потрясена была до слез моим рассказом.

– Злая, злая ты этакая! Для чего ты мне раньше всего не сказала? Я бы тебя так любила, так любила! И больно тебя мальчики били на улице?

– Больно. Я так боялась их!

– Ух, злые! Знаешь, Неточка, я сама видела, как один мальчик другого на улице бил. Завтра я тихонько возьму Фальстафкину плетку, и уж если один встретится такой, я его так прибью, так прибью!

Глаза ее сверкали от негодования.

Мы пугались, когда кто-нибудь входил. Мы боялись, чтоб нас не застали, когда мы целуемся. А целовались мы в этот день по крайней мере сто раз. Так прошел этот день и следующий. Я боялась умереть от восторга, задыхалась от счастья. Но счастье наше продолжалось недолго.

Мадам Леотар должна была доносить о каждом движении княжны. Она наблюдала за нами целые три дня, и в эти три дня у ней накопилось много чего рассказать. Наконец она пошла к княгине и объявила ей все, что подметила, – что мы обе в каком-то исступлении, уже целых три дня не разлучаемся друг с другом, поминутно целуемся, плачем, хохочем как безумные, как безумные, без умолку болтаем, тогда как этого прежде не было, что она не знает, чему приписать это все, но ей кажется, что княжна в каком-нибудь болезненном кризисе, и, наконец, ей кажется, что нам лучше видеться пореже.

– Я давно это думала, – отвечала княгиня, – уж я знала, что эта странная сиротка наделает нам хлопот. Что мне рассказали про нее, про прежнюю жизнь ее, – ужас, настоящий ужас! Она имеет очевидное влияние на Катю. Вы говорите, Катя очень любит ее?

– Без памяти.

Княгиня покраснела от досады. Она уже ревновала ко мне свою дочь.

– Это ненатурально, – сказала она. – Прежде они были так чужды друг другу, и, признаюсь, я этому радовалась. Как бы ни была мала эта сиротка, но я ни за что не ручаюсь. Вы меня понимаете? Она уже с молоком всосала свое воспитание, свои привычки и, может быть, правила. И не понимаю, что находит в ней князь? Я тысячу раз предлагала отдать ее в пансион.

Мадам Леотар вздумала было за меня заступиться, но княгиня уже решила нашу разлуку. Тотчас прислали за Катей и уж внизу объявили ей, что она со мной не увидится до следующего воскресенья, то есть ровно неделю.

Я узнала про все поздно вечером и была поражена ужасом; я думала о Кате, и мне казалось, что она не перенесет нашей разлуки. Я приходила в исступление от тоски, от горя и в ночь заболела; наутро пришел ко мне князь и шепнул, чтоб я надеялась. Князь употребил все свои усилия, но все было тщетно, княгиня не изменяла намерения. Мало-помалу я стала приходить в отчаяние, у меня дух захватывало от горя.

На третий день, утром, Настя принесла мне записку от Кати. Катя писала карандашом, страшными каракулями, следующее:

«Я тебя очень люблю. Сижу с maman и все думаю, как к тебе убежать. Но я убегу – я сказала, и потому не плачь. Напиши мне, как ты меня любишь. А я тебя обнимала всю ночь во сне, ужасно страдала, Неточка. Посылаю тебе конфект. Прощай».

Я отвечала в этом же роде. Весь день проплакала я над запиской Кати. Мадам Леотар замучила меня своими ласками. Вечером я узнала, она пошла к князю и сказала, что я непременно буду больна в третий раз, если не увижусь с Катей, и что она раскаивается, что сказала княгине. Я расспрашивала Настю: что с Катей? Она отвечала мне, что Катя не плачет, но ужасно бледна.

Наутро Настя шепнула мне:

– Ступайте в кабинет к его сиятельству. Спуститесь по лестнице, которая справа.

Все во мне оживилось предчувствием. Задыхаясь от ожидания, я сбежала вниз и отворила дверь в кабинет. Ее не было. Вдруг Катя обхватила меня сзади и горячо поцеловала. Смех, слезы… Мигом Катя вырвалась из моих объятий, вскарабкалась на отца, вскочила на его плечи, как белка, но, не удержавшись, прыгнула с них на диван. За нею упал и князь. Княжна плакала от восторга.

– Папа, какой ты хороший человек, папа!

– Шалуньи вы! что с вами сделалось? что за дружба? что за любовь?

– Молчи, папа, ты наших дел не знаешь.

И мы снова бросились в объятия друг к другу.

Я начала рассматривать ее ближе. Она похудела в три дня. Румянец слинял с ее личика, и бледность прокрадывалась на его место. Я заплакала с горя.

Наконец постучалась Настя. Знак, что схватились Кати и спрашивают. Катя побледнела как смерть.

– Полно, дети. Мы каждый день будем сходиться. Прощайте, и да благословит вас Господь! – сказал князь.

Он был растроган, на нас глядя; но рассчитал очень худо. Вечером из Москвы пришло известие, что маленький Саша внезапно заболел и при последнем издыхании. Княгиня положила отправиться завтра же. Это случилось так скоро, что я ничего и не знала, до самого прощания с княжной. На прощанье настоял сам князь, и княгиня едва согласилась. Княжна была как убитая. Я сбежала вниз, не помня себя, и бросилась к ней на шею. Дорожная карета уж ждала у подъезда. Катя вскрикнула, глядя на меня, и упала без чувств. Я бросилась целовать ее. Княгиня стала приводить ее в память. Наконец она очнулась и обняла меня снова.

– Прощай, Неточка! – сказала она мне вдруг, засмеявшись с неизъяснимым движением в лице. – Ты не смотри на меня; это я так; я не больна, я приеду через месяц опять. Тогда мы не разойдемся.

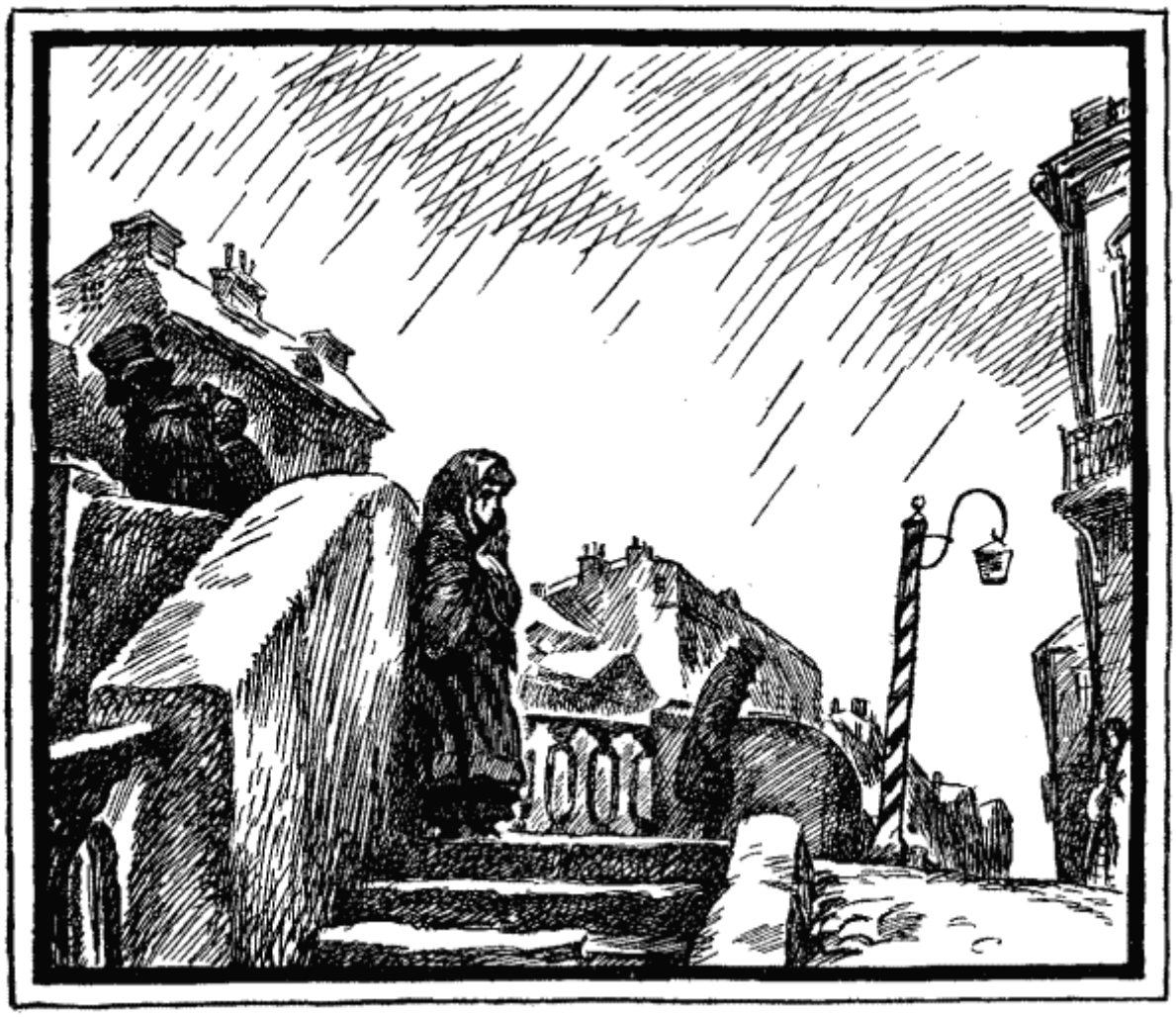
– Довольно, – сказала княгиня спокойно, – едем!

Но княжна воротилась еще раз. Она судорожно сжала меня в объятиях.

– Жизнь моя! – успела она прошептать, обнимая меня. – До свиданья!

Мы поцеловались в последний раз, и княжна исчезла – надолго, очень надолго…

Рассказ Нелли

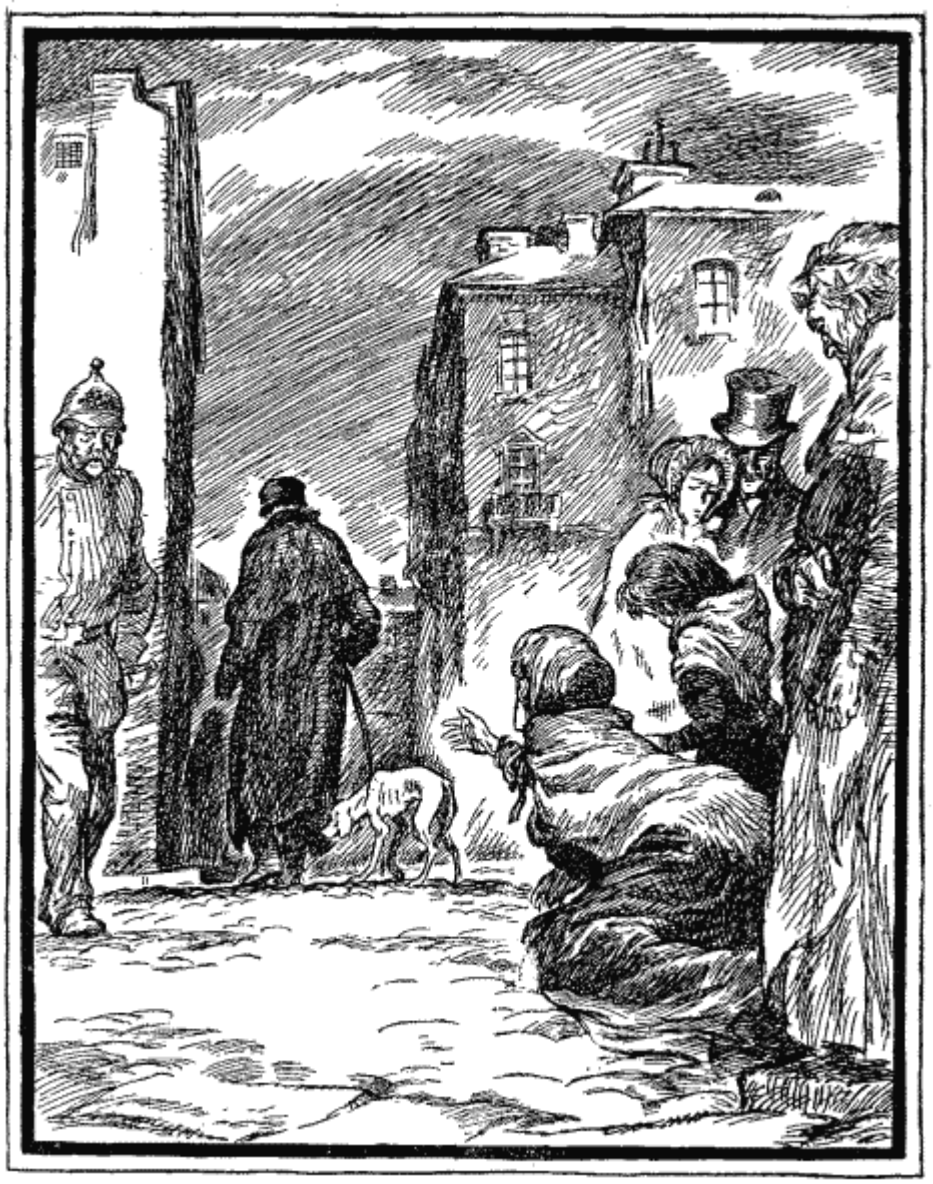


(из романа «Униженные и оскорбленные»).
© Рис. К. Безбородова, 1971

Когда мы приехали, то долго отыскивали дедушку, но никак не могли отыскать. Мамаша мне и сказала тогда, что дедушка был прежде очень богатый и фабрику хотел строить, а что теперь он бедный, потому что тот, с кем мамаша уехала, взял у ней все дедушкины деньги и не отдал ей. Она мне это сама сказала. И она говорила мне еще, что дедушка на нее очень сердит, и что она сама во всем перед ним виновата, и что нет у ней теперь на всей земле никого, кроме дедушки. И когда говорила мне, то плакала… «Он меня не простит, – говорила она, еще когда мы сюда ехали, – но, может быть, тебя увидит и тебя полюбит, а за тебя и меня простит». Мамаша очень любила меня, и когда это говорила, то всегда меня целовала, а к дедушке идти очень боялась. Меня же учила молиться за дедушку, и сама молилась и много мне еще рассказывала, как она прежде жила с дедушкой и как дедушка ее очень любил, больше всех. Она ему на фортепияно играла и книги читала по вечерам, а дедушка ее целовал и много ей дарил… Когда мы приехали, то жили сперва в Мещанской, там было очень темно и сыро, и матушка очень заболела, но еще тогда ходила. Я ей белье мыла, а она плакала. Там тоже жила одна старушка, капитанша, и жил отставной чиновник, и все приходил пьяный, и всякую ночь кричал и шумел. Я очень боялась его. Матушка брала меня к себе на постель и обнимала меня, а сама вся, бывало, дрожит, а чиновник кричит и бранится. Он хотел один раз прибить капитаншу, а та была старая старушка и ходила с палочкой. Мамаше стало жаль ее, и она за нее заступилась; чиновник и ударил мамашу, а я чиновника… Тогда мамаша вышла и меня увела с собой. Это было днем. Мы всё ходили по улицам до самого вечера, и мамаша все плакала и все ходила, а меня вела за руку. Я очень устала; мы и не ели этот день. А мамаша все сама с собой говорила и мне все говорила: «Будь бедная, Нелли, и когда я умру, не слушай никого и ничего. Ни к кому не ходи; будь одна, бедная, и работай, а нет работы, так милостыню проси, а *к ним* не ходи». Только в сумерки мы переходили через одну большую улицу; вдруг мамаша

закричала: «Азорка! Азорка!» – и вдруг большая собака, без шерсти, подбежала к мамаше, завизжала и бросилась к ней, а мамаша испугалась, стала бледная, закричала и бросилась на колени перед высоким стариком, который шел с палкой и смотрел в землю. А этот высокий старик и был дедушка, и такой сухощавый, в дурном платье. Тут-то я в первый раз и увидала дедушку. Дедушка тоже очень испугался и весь побледнел, и как увидал, что мамаша лежит подле него и обхватила его ноги, – он вырвался, толкнул мамашу, ударил по камню палкой и пошел скоро от нас. Азорка еще остался и все выл и лизал мамашу, потом побежал к дедушке, схватил его за полу и потащил назад, а дедушка его ударил палкой. Азорка опять к нам было побежал, да дедушка кликнул его, он и побежал за дедушкой и все выл. А мамаша лежала как мертвая, кругом народ собрался, полицейские пришли. Я все кричала и подымала мамашу. Она и встала, огляделась кругом и пошла за мной. Я ее повела домой. Люди на нас долго смотрели и всё головой качали… Как мы шли домой, все говорила: «Это твой дедушка, Нелли, а я виновата перед ним, вот он и проклял меня, за это меня теперь Бог и наказывает», – и весь этот вечер и все следующие дни все это же говорила. А говорила, как будто себя не помнила… В ту же ночь заболела, а капитанша отыскала квартиру у Бубновой, а на третий день мы и переехали, и капитанша с нами; и как переехали, мамаша совсем слегла и три недели лежала больная, а я ходила за ней. Деньги у нас совсем все вышли, и нам помогла капитанша и Иван Александрыч[15].

[15] *Иван Александрыч* – хозяин, гробовщик.



А когда мамаша встала с постели и стала ходить, тогда мне про Азорку и рассказала, что раз где-то на реке, за городом, мальчишки тащили Азорку на веревке топить, а мамаша дала им денег и купила у них Азорку. Дедушка, как увидел Азорку, стал над ним очень смеяться. Только Азорка и убежал. Мамаша стала плакать; дедушка испугался и сказал, что даст сто рублей тому, кто приведет Азорку. На третий день его и привели; дедушка сто рублей отдал и с этих пор стал любить Азорку. А мамаша так его стала любить, что даже на постель с собой брала. Она мне рассказывала, что Азорка прежде с комедиантами по улицам ходил, и служить умел, и обезьяну на себе возил, и ружьем умел делать, и много еще умел… А когда мамаша уехала от дедушки, то дедушка и оставил Азорку у себя и все с ним ходил, так что на улице, как только мамаша увидала Азорку, тотчас же и догадалась, что тут же и дедушка…

Когда мамаша стала выздоравливать, тогда я встретила опять дедушку. Я ходила в лавочку за хлебом: вдруг увидела человека с Азоркой, посмотрела и узнала дедушку. Я посторонилась и прижалась к стене. Дедушка посмотрел на меня, долго смотрел и такой был страшный, что я его очень испугалась, и прошел мимо; Азорка же меня припомнил и начал скакать подле меня и мне руки лизать. Я поскорей пошла домой, посмотрела назад, а дедушка зашел в лавочку. Тут я подумала: верно, расспрашивает, и испугалась еще больше, и когда пришла домой, то мамаше ничего не сказала, чтоб мамаша опять не сделалась больна. Сама же в лавочку на другой день не ходила, сказала, что у меня голова болит, а когда пошла на третий день, то никого не встретила и ужасно боялась, так что бегом бежала. А еще через день вдруг я иду, только что за угол зашла, а дедушка передо мной и Азорка. Я побежала и поворотила в

другую улицу и с другой стороны в лавочку зашла; только вдруг прямо на него опять и наткнулась и так испугалась, что тут же и остановилась и не могу идти. Дедушка стал передо мною и опять долго смотрел на меня, а потом погладил меня по головке, взял за руку и повел меня, а Азорка за нами и хвостом махает. Тут я и увидала, что дедушка и ходить прямо уж не может и все на палку упирается, а руки у него совсем дрожат. Он меня привел к разносчику, который на углу сидел и продавал пряники и яблоки. Дедушка купил пряничного петушка и рыбку, и одну конфетку, и яблоко, и когда вынимал деньги из кожаного кошелька, то руки у него очень тряслись, и он уронил пятак, а я подняла ему. Он мне этот пятак подарил, и пряники отдал, и погладил меня по голове, но опять ничего не сказал, а пошел от меня домой.

Тогда я пришла к мамаше и рассказала ей все про дедушку и как я сначала его боялась и пряталась от него. Мамаша мне сперва не поверила, а потом так обрадовалась, что весь вечер меня расспрашивала, целовала и плакала, и когда я уж ей все рассказала, то она мне вперед приказала: чтоб я никогда не боялась дедушку и что, стало быть, дедушка любит меня, коль нарочно приходил ко мне. И велела, чтоб я ласкалась к дедушке и говорила с ним. А на другой день все меня высылала несколько раз поутру, хотя я и сказала ей, что дедушка приходил всегда только перед вечером. Сама же она за мной издали шла и за углом пряталась и на другой день также, но дедушка не пришел, а в эти дни шел дождь, и матушка очень простудилась, потому что все со мной выходила за ворота, и опять слегла.

Дедушка же пришел через неделю и опять мне купил одну рыбку и яблоко и опять ничего не сказал. А когда уж он пошел от меня, я тихонько пошла за ним, потому что заранее так вздумала, чтоб узнать, где живет дедушка, и сказать мамаше. Я шла издали по другой стороне улицы, так чтоб дедушка меня не видал. А жил он очень далеко, не там, где после жил и умер, а в Гороховой, тоже в большом доме, в четвертом этаже. Я все это узнала и поздно воротилась домой. Мамаша очень испугалась, потому что не знала, где я была. Когда же я рассказала, то мамаша опять очень обрадовалась и тотчас же хотела идти к дедушке, на другой же день; но на другой день стала думать и бояться и все боялась, целых три дня; так и не ходила. А потом позвала меня и сказала: «Вот что, Нелли, я теперь больна и не могу идти, а я написала письмо твоему дедушке, поди к нему и отдай письмо. И смотри, Нелли, как он его прочтет, что скажет и что будет делать; а ты стань на колени, целуй его и проси его, чтоб он простил твою мамашу…» И мамаша очень плакала, и все меня целовала, и крестила в дорогу, и Богу молилась, и меня с собой на колени перед образом поставила и хоть очень была больна, но вышла меня провожать к воротам, и когда я оглядывалась, она все стояла и глядела на меня, как я иду…

Я пришла к дедушке и отворила дверь, а дверь была без крючка. Дедушка сидел за столом и кушал хлеб с картофелем, а Азорка стоял перед ним, смотрел, как он ест, и хвостом махал. У дедушки тоже и в той квартире были окна низкие, темные и тоже только один стол и стул. А жил он один. Я вошла, и он так испугался, что весь побледнел и затрясся. Я тоже испугалась и ничего не сказала, а только подошла к столу и положила письмо. Дедушка как увидал письмо, то так рассердился, что вскочил, схватил палку и замахнулся на меня, но не ударил, а только вывел меня в сени и толкнул меня. Я еще не успела и с первой лестницы сойти, как он отворил опять дверь и выбросил мне назад письмо нераспечатанное. Я пришла домой и все рассказала. Тут матушка слегла опять…

Три недели я не видела с того времени дедушку, до самой зимы. Тут зима стала, и снег выпал. Когда же я встретила дедушку опять, на прежнем месте, то очень обрадовалась… потому что мамаша тосковала, что он не ходит. Я, как увидела его, нарочно побежала на другую сторону улицы, чтоб он видел, что я бегу от него. Только я оглянулась и вижу, что дедушка сначала скоро пошел за мной, а потом и побежал, чтоб меня догнать, и стал кричать мне: «Нелли, Нелли!» И Азорка бежал за ним. Мне жалко стало, я и остановилась. Дедушка подошел, и взял меня за руку, и повел, а когда увидел, что я плачу, остановился, посмотрел на меня, нагнулся и поцеловал. Тут он увидал, что у меня башмаки худые, и спросил: разве у меня нет других? Я тотчас же сказала ему поскорей, что у мамаши совсем нет денег и что нам хозяева из одной жалости есть дают. Дедушка ничего не сказал, но повел меня на рынок и купил мне башмаки и велел тут же их надеть, а потом повел меня к себе, в Гороховую, а прежде зашел в лавочку и купил пирог и две конфетки, и, когда мы пришли, сказал, чтоб я ела пирог, и

смотрел на меня, когда я ела, а потом дал мне конфетки. А Азорка положил лапы на стол и тоже просил пирога, я ему и дала, и дедушка засмеялся. Потом взял меня, поставил подле себя, начал по голове гладить и спрашивать: училась ли я чему-нибудь и что я знаю? Я ему сказала, а он велел мне, как только мне можно будет, каждый день в три часа ходить к нему, и что он сам будет учить меня. Потом сказал мне, чтоб я отвернулась и смотрела в окно, покамест он скажет, чтоб я опять повернулась к нему. Я так и стояла, но тихонько обернулась назад и увидела, что он распорол свою подушку с нижнего уголка и вынул четыре целковых. Когда вынул, принес их мне и сказал: «Это тебе одной». Я было взяла, но потом подумала и сказала: «Коли мне одной, так не возьму». Дедушка вдруг рассердился и сказал мне: «Ну, бери как знаешь, ступай». Я вышла, а он и не поцеловал меня.

Как я пришла домой, все мамаше и рассказала. А мамаше все становилось хуже и хуже. К гробовщику ходил один студент; он лечил мамашу и велел ей лекарства принимать.

А я ходила к дедушке часто; мамаша так приказывала. Дедушка купил Новый Завет и географию и стал меня учить; а иногда рассказывал, какие на свете есть земли, и какие люди живут, и какие моря, и что было прежде, и как Христос нас всех простил. Когда я его сама спрашивала, то он был очень рад; потому я и стала часто его спрашивать, и он все рассказывал и про Бога много говорил. А иногда мы не учились и с Азоркой играли: Азорка меня очень стал любить, и я его выучила через палку скакать, и дедушка смеялся и все меня по головке гладил. Только дедушка редко смеялся. Один раз много говорит, а то вдруг замолчит и сидит, как будто заснул, а глаза открыты. Так и досидит до сумерек, а в сумерки он такой становится страшный, старый такой… А то, бывало, приду к нему, а он сидит на своем стуле, думает и ничего не слышит, и Азорка подле него лежит. Я жду, жду и кашляю; дедушка все не оглядывается. Я так и уйду. А дома мамаша так уж и ждет меня; она лежит, а я ей рассказываю все, все, так и ночь придет, а я все говорю, и она все слушает про дедушку: что он делал сегодня и что мне рассказывал, какие истории, и что на урок мне задал. А как начну про Азорку, что я его через палку заставляла скакать и что дедушка смеялся, то и она вдруг начнет смеяться, и долго, бывало, смеется и радуется и опять заставляет повторить, а потом молиться начнет. А я все думала: что ж мамаша так любит дедушку, а он ее не любит, и когда пришла к дедушке, то нарочно стала ему рассказывать, как мамаша его любит. Он все слушал, такой сердитый, а все слушал – и ни слова не говорил; тогда я и спросила, отчего мамаша его так любит, что все об нем спрашивает, а он никогда про мамашу не спрашивает. Дедушка рассердился и выгнал меня за дверь; я немножко постояла за дверью, а он вдруг опять отворил и позвал меня назад, и все сердился и молчал. А когда потом мы начали Закон Божий[16] читать, я опять спросила: отчего же Иисус Христос сказал: любите друг друга и прощайте обиды, а он не хочет простить мамашу? Тогда он вскочил и закричал, что это мамаша меня научила, вытолкнул меня в другой раз вон и сказал, чтоб я никогда не смела к нему приходить. А я сказала, что я и сама теперь к нему не приду, и ушла от него… А дедушка на другой день из квартиры переехал…

Я три дня не ходила к дедушке, а в это время мамаше стало худо. Деньги у нас все вышли, а лекарства не на что было купить, да и не ели мы ничего, потому что у хозяев тоже ничего не было, а и они стали нас попрекать, что мы на их счет живем. Тогда я на третий день утром встала и начала одеваться. Мамаша спросила: куда я иду? Я и сказала: к дедушке, просить денег, и она обрадовалась, потому что я уже рассказала мамаше все, как он прогнал меня от себя, и сказала ей, что не хочу больше ходить к дедушке, хоть она и плакала и уговаривала меня идти. Я пришла и узнала, что дедушка переехал, и пошла искать его новый дом. Как только я пришла к нему в новую квартиру, он вскочил, бросился на меня и затопал ногами, и я ему тотчас сказала, что мамаша очень больна, что на лекарство надо денег, пятьдесят копеек, а нам есть нечего. Дедушка закричал и вытолкал меня на лестницу и запер за мной дверь на крючок. Но когда он толкал меня, я ему сказала, что я на лестнице буду сидеть и до тех пор не уйду, покамест он денег не даст. Я и сидела на лестнице. Немного спустя он отворил дверь и увидел, что я сижу, и опять затворил. Потом долго прошло, он опять отворил,

---

16 *Закон Божий* – здесь: школьный учебник, по которому преподается Закон Божий – основы христианского учения.

опять увидал меня и опять затворил. И потом много раз отворял и смотрел. Наконец вышел с Азоркой, запер дверь и прошел мимо меня со двора и ни слова мне не сказал. И я ни слова не сказала и так и осталась сидеть, и сидела до сумерек.

Он пришел, когда уже стало совсем темно, и, входя, наткнулся на меня и закричал: кто тут? Я сказала, что это я. А он, верно, думал, что я давно ушла, и как увидал, что я все еще тут, то очень удивился и долго стоял передо мной. Вдруг ударил по ступенькам палкой, побежал, отпер свою дверь и через минуту вынес мне медных денег, всё пятаки, и бросил их в меня на лестницу.

«Вот тебе, – закричал, – возьми, это у меня все, что было, и скажи твоей матери, что я ее проклинаю!» – а сам захлопнул дверь. А пятаки покатились по лестнице. Я начала подбирать их в темноте, и дедушка, видно, догадался, что он разбросал пятаки и что в темноте мне их трудно собрать, отворил дверь и вынес свечу, и при свечке я скоро их собрала. И дедушка сам сбирал вместе со мной и сказал мне, что тут всего должно быть семь гривен, и сам ушел. Когда я пришла домой, я отдала деньги и все рассказала мамаше, и мамаше сделалось хуже, а сама я всю ночь была больна и на другой день тоже вся в жару была, но я только об одном думала, потому что сердилась на дедушку, и когда мамаша заснула, пошла на улицу, к дедушкиной квартире, и, не доходя, стала на мосту. Тут и прошел один господин. Я остановила его и попросила денег, рубль серебром, а он нагнулся ко мне и спросил: для чего я непременно столько хочу. Я сказала ему, что мамаша больна и что нужно столько на лекарство. Он спросил,

где мы живем, и записал, и дал мне бумажку рубль серебром. Я пошла в лавочку и разменяла рубль на медные: тридцать копеек завернула в бумажку и отложила мамаше, а семь гривен не завернула в бумажку, а нарочно зажала в руках и пошла к дедушке. Как пришла к нему, то отворила дверь, стала на пороге, размахнулась и бросила ему с размаху все деньги, так они и покатились по полу.

– Вот, возьмите ваши деньги! – сказала я ему. – Не надо их от вас мамаше, потому что вы ее проклинаете, – хлопнула дверью и тотчас же убежала прочь.

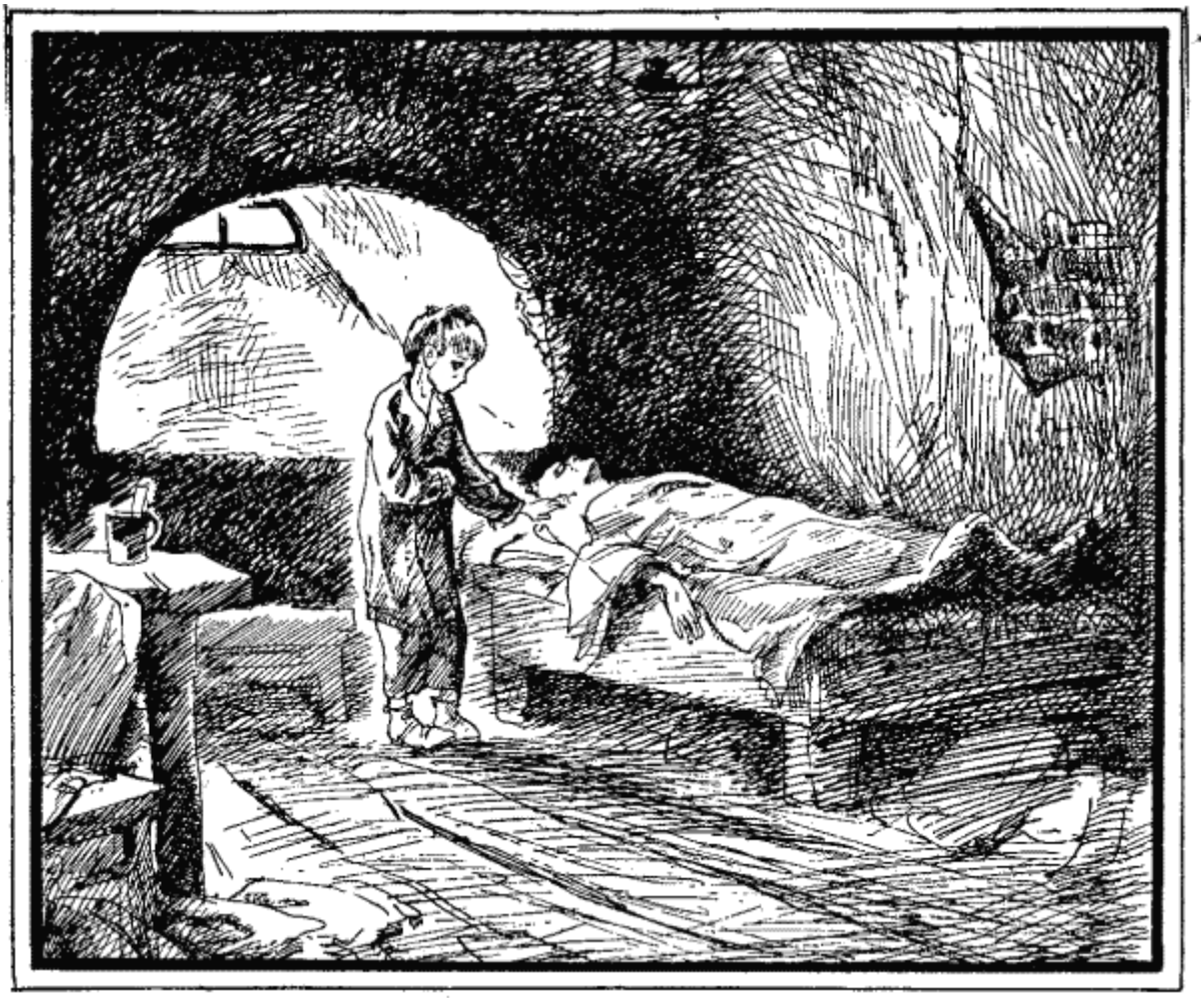
Мамаша уже редко вставала с постели. Денег у нас уж ничего больше не было, я и стала ходить с капитаншей. А капитанша по домам ходила, тоже и на улице людей хороших останавливала и просила, тем и жила. Она говорила мне, что она не нищая, а что у ней бумаги есть, где ее чин написан и написано тоже, что она бедная. Эти бумаги она и показывала, и ей за это деньги давали. Она и говорила мне, что у всех просить не стыдно. Я и ходила с ней, и нам подавали, тем мы и жили. Мамаша как узнала про все, то стала плакать, потом вдруг встала с постели, оделась, схватила меня за руку и повела за собой. Иван Александрыч стал ее останавливать, но она не слушала, и мы вышли. Мамаша едва могла ходить и каждую минуту садилась на улице, а я ее придерживала. Мамаша все говорила, что идет к дедушке и чтоб я вела ее, а уж давно стала ночь. Вдруг мы пришли в большую улицу; тут перед одним домом останавливались кареты, и много выходило народу, а в окнах везде был свет, и слышна была музыка. Мамаша остановилась, схватила меня и сказала мне тогда: «Нелли, будь бедная, будь всю жизнь бедная, не ходи к этим гордым и жестоким людям, кто бы тебя ни позвал, кто бы ни пришел. Они и злые и жестокие, они не прощают обид, и вот тебе мое приказание: оставайся бедная, работай и милостыню проси». Это мне говорила мамаша, когда больна была, и я всю жизнь хочу ее слушаться.

Мамаша так ослабла, что упала вдруг без чувств. Я закричала. Нас хотели взять в полицию, но один господин вступился, расспросил у меня квартиру, дал мне десять рублей и велел отвезти мамашу к нам домой на своих лошадях. После этого мамаша уж и не вставала, а через три недели умерла…

За неделю до смерти мамаша подозвала меня и сказала: «Нелли, сходи еще раз к дедушке, в последний раз, и попроси, чтоб он пришел ко мне и простил меня: скажи ему, что я через несколько дней умру и тебя одну на свете оставляю. И скажи ему еще, что мне тяжело умирать…» Я и пошла, постучалась к дедушке, он отворил и, как увидел меня, тотчас хотел было передо мной дверь затворить, но я ухватилась за дверь обеими руками и закричала ему: «Мамаша умирает, вас зовет, идите!..» Но он оттолкнул меня и захлопнул дверь. Я воротилась к мамаше, легла подле нее, обняла ее и ничего не сказала… Мамаша тоже обняла меня и ничего не расспрашивала…

Вот в последний день, перед тем как ей умереть, перед вечером, мамаша подозвала меня к себе, взяла меня за руку и сказала: «Я сегодня умру, Нелли», хотела было еще говорить, но уж не могла. Я смотрю на нее, а она уж как будто меня и не видит, только в руках мою руку крепко держит. Я тихонько вынула руку и побежала из дому, и всю дорогу бежала бегом и прибежала к дедушке. Как он увидел меня, то вскочил со стула и смотрит, и так испугался, что совсем стал такой бледный и весь задрожал. Я схватила его за руку и только одно выговорила: «Сейчас умрет». Тут он вдруг так и заметался; схватил свою палку и побежал за мной; даже и шляпу забыл, а было холодно. Я схватила шляпу и надела ее ему, и мы вместе выбежали. Я торопила его и говорила, чтоб он нанял извозчика, потому что мамаша сейчас умрет; но у дедушки было только семь копеек всех денег. Он останавливал извозчиков, торговался, но они только смеялись, и над Азоркой смеялись, а Азорка с нами бежал, и мы все дальше и дальше бежали. Дедушка устал и дышал трудно, но все торопился и бежал. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила. Я подняла его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести, и только перед самой ночью мы пришли домой… Но матушка уже лежала мертвая. Как увидел ее дедушка, всплеснул руками, задрожал и стал над ней, а сам ничего не говорит. Тогда я подошла к мертвой мамаше, схватила дедушку за руку и закричала ему: «Вот, жестокий и злой человек, вот, смотри!.. смотри!» – тут дедушка закричал и упал на пол, как мертвый…

Мальчик у Христа на елке



(из «Дневника писателя», январь 1876 г.).

© Рис. Г. Мазурина, 1971

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов[17] захватили еще два дня тому в полицию. Жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник[18] уже целые сутки лежал мертво-пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали.

---

17 *Сдавать углы* – пускать за плату несколько жильцов (обычно очень бедных) в одну комнату.

18 *Хала́тник* – торговец-старьевщик.

Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется, – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь – господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, – ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети,

нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть. «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, – но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова елка», – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок[19], от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду; и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и Он Сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им

19 *Чухо́нец, чухо́нка* – так называли финнов, живших в пригородах Санкт-Петербурга.

здесь так хорошо…

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя?

А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Мужик Марей

(из «Дневника писателя», февраль 1876 г.).

© Рис. Г. Мазурина, 1971

…Мало-помалу я забылся и неприметно погрузился в воспоминания… Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле…

На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, – мгновенье, казалось бы мною совершенно забытое; но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства.

Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в *Лоск* – так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне,

одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно, я весь погружен в мое дело, я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их сбираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича во весь голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, – мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

– Волк бежит! – прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.

– Где волк?

– Закричал… Кто-то закричал сейчас: «Волк бежит»… – пролепетал я.

– Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть! – бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

– Ишь ведь испужался, ай-ай! – качал он головой. – Полно, родный. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

– Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. – Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

– Ишь ведь, ай, – улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, – Господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит», померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то…

– Ну, я пойду, – сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

– Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь, – ну, Христос с тобой, ну ступай, – и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял с своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шел я, все еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг, откуда ни возьмись, бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марею; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он все так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.

– Ну-ну! – послышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою соху.

Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительною точностью в подробностях.

Я тогда, придя домой от Марея, никому не рассказал о моем «приключении». Да и какое это было приключение? Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом

изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь испужался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе…

В барском пансионе

(из романа «Подросток»).

© Рис. Е. Мешкова, 1971

Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды, но это был не набат, а какой-то приятный, плавный звон, и я вдруг различил, что это ведь – звон

знакомый, что звонят у Николы[20], красной церкви против нашего пансиона, – в старинной московской церкви, которую я так помню, выстроенной еще при Алексее Михайловиче, узорчатой, многоглавой и «в столпах», – и что теперь только что минула Святая неделя и на тощих березках в палисаднике тушаровского дома уже трепещут новорожденные зелененькие листочки. Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи в нашу классную комнату, а у меня, в моей маленькой комнатке налево, куда Тушар отвел меня еще год назад от «графских и сенаторских детей», сидит гостья. Да, у меня, безродного, вдруг очутилась гостья – в первый раз с того времени, как я у Тушара. Я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла, – это была мама, хотя с того времени, как она меня причащала в деревенском храме, а голубок пролетел через купол, я не видал уж ее ни разу. Мы сидели вдвоем, и я странно к ней приглядывался. Потом, уже спустя много лет, я узнал, что она тогда… прибыла в Москву на свои жалкие средства, самовольно, почти украдкой от тех, которым поручено было тогда о ней попечение, и это единственно чтоб со мной повидаться. Странно было и то, что, войдя и поговорив с Тушаром, она ни слова не сказала мне самому, что она – моя мать. Она сидела подле меня, и, помню, я даже удивлялся, что она так мало говорит. С ней был узелок, и она развязала его: в нем оказалось шесть апельсинов, несколько пряников и два обыкновенных французских хлеба. Я обиделся на французские хлебы и с ущемленным видом ответил, что здесь у нас «пища» очень хорошая и нам каждый день дают к чаю по целой французской булке.

– Все равно, голубчик, я ведь так по простоте подумала: «Может, их там, в школе-то, худо кормят», не взыщи, родной.

– И Антонине Васильевне (жене Тушара) обидно станет-с. Товарищи тоже будут надо мною смеяться…

– Не примешь, что ли? Может, и скушаешь?

– Пожалуй, оставьте-с…

А к гостинцам я даже не притронулся; апельсины и пряники лежали передо мной на столике, а я сидел, потупив глаза, но с большим видом собственного достоинства. Кто знает, может быть, мне очень хотелось тоже не скрыть от нее, что визит ее меня даже перед товарищами стыдит; хоть капельку показать ей это, чтоб поняла: «Вот, дескать, ты меня срамишь и даже сама не понимаешь того». О, я уже тогда бегал со щеткой за Тушаром смахивать с него пылинки! Представлял я тоже себе, сколько перенесу я от мальчишек насмешек, только что она уйдет, а может, и от самого Тушара, – и ни малейшего доброго чувства не было к ней в моем сердце. Искоса только я оглядывал ее темненькое старенькое платьице, довольно грубые, почти рабочие, руки, совсем уж грубые ее башмаки и сильно похудевшее лицо; морщинки уже прорезывались у нее на лбу, хотя Антонина Васильевна и сказала мне потом, вечером, по ее уходе: «Должно быть, ваша maman была когда-то очень недурна собой».

---

[20] *У Нико́лы* – то есть в церкви, освященной в память святого Николая Чудотворца и носящей его имя.

Так мы сидели, и вдруг Агафья вошла с подносом, на котором была чашка кофею. Было время послеобеденное, и Тушары всегда в этот час пили у себя в своей гостиной кофей. Но мама поблагодарила и чашку не взяла: как узнал я после, она совсем тогда не пила кофею, производившего у ней сердцебиение. Дело в том, что визит ее и дозволение ей меня видеть Тушары внутри себя, видимо, считали чрезвычайным с их стороны снисхождением, так что посланная маме чашка кофею была, так сказать, уже подвигом гуманности, сравнительно говоря, приносившим чрезвычайную честь их цивилизованным чувствам и европейским понятиям. А мама-то, как нарочно, и отказалась.

Меня позвали к Тушару, и он велел мне взять все мои тетрадки и книги и показать маме: «чтоб она видела, сколько успели вы приобрести в моем заведении». Тут Антонина Васильевна, съежив губки, обидчиво и насмешливо процедила мне с своей стороны:

– Кажется, вашей maman не понравился наш кофей.

Я набрал тетрадок и понес их к дожидавшейся маме мимо столпившихся в классной и подглядывавших нас с мамой «графских и сенаторских детей». И вот, мне даже понравилось исполнить приказание Тушара в буквальной точности. Я методически стал развертывать мои тетрадки и объяснять: «Вот это – урок из французской грамматики, вот это – упражнение под диктант, вот тут – спряжение вспомогательных глаголов avoir и être, вот тут по географии, описание главных городов Европы и всех частей света», и т. д., и т. д. Я с полчаса или больше объяснял ровным, маленьким голоском, благонравно потупив глазки. Я знал, что мама ничего не понимает в науках, может быть, даже писать не умеет, но тут-то моя роль мне и нравилась.

Но утомить ее я не смог, – она все слушала, не прерывая меня, с чрезвычайным вниманием и даже с благоговением, так что мне самому наконец наскучило, и я перестал; взгляд ее был, впрочем, грустный, и что-то жалкое было в ее лице.

Она поднялась наконец уходить; вдруг вошел сам Тушар и с дурацки-важным видом спросил ее: «довольна ли она успехами своего сына?» Мама начала бессвязно бормотать и благодарить; подошла и Антонина Васильевна. Мама стала просить их обоих: «не оставить сиротки, все равно он что сиротка теперь, окажите благодеяние ваше…» – и она со слезами на глазах поклонилась им обоим, каждому раздельно, каждому глубоким поклоном, именно как кланяются «из простых», когда приходят просить о чем-нибудь важных господ. Тушары этого даже не ожидали, а Антонина Васильевна, видимо, была смягчена и, конечно, тут же изменила свое заключение насчет чашки кофею. Тушар, с усиленною важностью, гуманно ответил, что он «детей не рознит, что все здесь его дети, а он – их отец, что я у него почти на одной ноге с сенаторскими и графскими детьми, и что это надо ценить», и проч., и проч. Мама только кланялась, но, впрочем, конфузилась, наконец обернулась ко мне и со слезами, блеснувшими на глазах, проговорила: «Прощай, голубчик!»

И поцеловала меня, то есть я позволил себя поцеловать. Ей, видимо, хотелось бы еще и еще поцеловать меня, обнять, прижать, но совестно ли стало ей самой при людях, али от чего-то другого горько, али уж догадалась она, что я ее устыдился, но только она поспешно, поклонившись еще раз Тушарам, направилась выходить. Я стоял.

– Mais suiver donc votre mère, – проговорила Антонина Васильевна, – il n’a pas de cæur cet enfant![21]

Тушар в ответ ей пожал плечами, что, конечно, означало: «недаром же, дескать, я третирую его как лакея».

Я послушно спустился за мамой; мы вышли на крыльцо. Я знал, что они все там смотрят теперь из окошка. Мама повернулась к церкви и три раза глубоко на нее перекрестилась, губы ее вздрагивали, густой колокол звучно и мерно гудел с колокольни. Она повернулась ко мне и – не выдержала, положила мне обе руки на голову и заплакала над моей головой.

– Маменька, полноте-с… стыдно… ведь они из окошка теперь это видят-с…

Она вскинулась и заторопилась:

– Ну, Господи… ну, Господь с тобой… ну, храни тебя ангелы небесные, Пречестная Мать[22], Николай Угодник[23]. Господи, Господи! – скороговоркой повторяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестов, – голубчик ты мой, милый ты мой! Да постой, голубчик…

---

21 Проводите же мать… что за бессердечный мальчик! *(фр.)*

22 *Пречéстная* (Славная, Безгрешная) *Мать* – Богородица.

23 *Николай* (или Никола) *Угодник* – так в народе называли святого Николая Чудотворца, угождавшего Богу (то есть радовавшего Бога).

Она поспешно сунула руку в карман и вынула платочек, синенький клетчатый платочек с крепко завязанным на кончике узелочком, и стала развязывать узелок… но он не развязывался…

– Ну, все равно, возьми и с платочком, чистенький, пригодится, может, четыре двугривенных тут, может, понадобятся, прости, голубчик, больше-то как раз сама не имею… прости, голубчик.

Я принял платочек, хотел было заметить, что нам «от господина Тушара и Антонины Васильевны очень хорошее положено содержание и мы ни в чем не нуждаемся», но удержался и взял платочек.

Она наконец ушла. Апельсины и пряники поели еще до моего прихода сенаторские и графские дети, а четыре двугривенных у меня тотчас же отнял Ламберт; на них накупили они в кондитерской пирожков и шоколаду и даже меня не попотчевали.

Прошли целые полгода, и наступил уже ветреный и ненастный октябрь. Я про маму совсем забыл. О, тогда ненависть, глухая ненависть ко всему уже проникла в мое сердце, совсем напитала его; я хоть и обчищал щеткой Тушара по-прежнему, но уже ненавидел его изо всех сил и каждый день все больше и больше. И вот тогда, как раз в грустные вечерние сумерки, стал я однажды перебирать для чего-то в моем ящике и вдруг, в уголку, увидал синенький батистовый платочек ее, он так и лежал с тех пор, как я его тогда сунул. Я вынул его и осмотрел даже с некоторым любопытством; кончик платка сохранял еще вполне след бывшего узелка и даже ясно отпечатавшийся кругленький оттиск монетки; я, впрочем, положил

платок на место и задвинул ящик. Это было под праздник, и загудел колокол ко всенощной[24]. Воспитанники уже с после обеда разъехались по домам, но на этот раз Ламберт остался на воскресенье, не знаю, почему за ним не прислали. Он хоть и продолжал меня тогда бить, как и прежде, но уже очень много мне сообщал и во мне нуждался. Мы проговорили весь вечер о лепажевских пистолетах, которых ни тот, ни другой из нас не видал, о черкесских шашках и о том, как они рубят, о том, как хорошо было бы завести шайку разбойников… В десять часов мы легли спать; я завернулся с головой в одеяло и из-под подушки вытянул синенький платочек: я для чего-то опять сходил, час тому назад, за ним в ящик и, только что постлали наши постели, сунул его под подушку. Я тотчас прижал его к моему лицу и вдруг стал его целовать. «Мама, мама», – шептал я, вспоминая, и всю грудь мою сжимало, как в тисках. Я закрывал глаза и видел ее лицо с дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потом меня, а я говорил ей: «Стыдно, смотрят». «Мамочка, мама, раз-то в жизни была ты у меня… Мамочка, где ты теперь, гостья ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к которому приходила… Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснись ты мне хоть во сне только, чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидел, как лакей. Не узнаешь ты, мама, никогда, как я тебя тогда любил! Мамочка, где ты теперь, слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь голубóчка, в деревне?..»

Илюшечка

[24] *Всéнощная* – вечернее богослужение в православной церкви.

(из романа «Братья Карамазовы»).
© Рис. А. Парамонова, наследники

1. Школьники

…Как только Алеша Карамазов прошел площадь и свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, параллельную Большой, но отделявшуюся от нее лишь канавкой (весь город наш пронизан канавками), он увидел внизу пред мостиком маленькую кучку школьников, все малолетних деток, от девяти до двенадцати лет, не больше. Одни расходились по домам из класса со своими ранчиками за плечами, другие с кожаными мешочками на ремнях через плечо, одни в курточках, другие в пальтишках, а иные и в высоких сапогах со складками на голенищах, в каких особенно любят щеголять маленькие детки, которых балуют зажиточные отцы. Вся группа оживленно о чем-то толковала, по-видимому, совещалась. Алеша никогда не мог безучастно проходить мимо ребяток, в Москве тоже это бывало с ним, и хоть он больше всего любил трехлетних детей или около того, но и школьники лет десяти-одиннадцати ему очень нравились. А потому как ни озабочен он был теперь, но ему вдруг захотелось свернуть к ним и вступить в разговор. Подходя, он вглядывался в их румяные, оживленные личики и вдруг увидал, что у всех мальчиков было в руках по камню, у других так по два. За канавкой же, примерно шагах в тридцати от группы, стоял у забора и еще мальчик, тоже школьник, тоже с мешочком на боку, по росту лет десяти, не больше, или даже меньше того, – бледненький, болезненный и со сверкавшими черными глазками. Он внимательно и пытливо наблюдал группу шести школьников, очевидно его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы, но с которыми он, видимо, был во вражде. Алеша подошел и, обратясь к одному курчавому, белокурому, румяному мальчику в черной курточке, заметил, оглядев его:

– Когда я носил вот такой, как у вас, мешочек, так у нас носили на левом боку, чтобы правою рукой тотчас достать; а у вас ваш мешок на правом боку, вам неловко доставать.

– Да он левша, – ответил тотчас же другой мальчик, молодцеватый и здоровый, лет одиннадцати. Все остальные пять мальчиков уперлись глазами в Алешу.

– Он и камни левшой бросает, – заметил третий мальчик. В это мгновение в группу как раз влетел камень, задел слегка мальчика-левшу, но пролетел мимо, хотя пущен был ловко и энергически. Пустил же его мальчик за канавкой.

– Лупи его, сажай в него, Смуров! – закричали все. Но Смуров (левша) и без того не заставил ждать себя и тотчас отплатил: он бросил камнем в мальчика за канавкой, но неудачно: камень ударился в землю. Мальчик за канавкой тотчас же пустил еще в группу камень, на этот раз прямо в Алешу, и довольно больно ударил его в плечо. У мальчишки за канавкой весь карман был полон заготовленными камнями. Это видно было за тридцать шагов по отдувшимся карманам его пальтишка.

– Это он в вас, в вас, он нарочно в вас метил. Ведь вы Карамазов, Карамазов? – закричали, хохоча, мальчики. – Ну, все разом в него, пали!

И шесть камней разом вылетели из группы. Один угодил мальчику в голову, и тот упал, но мигом вскочил и с остервенением начал отвечать в группу камнями. С обеих сторон началась непрерывная перестрелка, у многих в группе тоже оказались в кармане заготовленные камни.

– Что вы это! Не стыдно ли, господа! Шестеро на одного, да вы убьете его! – закричал Алеша.

Он выскочил и стал навстречу летящим камням, чтобы загородить собою мальчика за канавкой. Трое или четверо на минутку унялись.

– Он сам первый начал! – закричал мальчик в красной рубашке раздраженным детским голоском, – он подлец, он давеча в классе Красоткина перочинным ножиком пырнул, кровь потекла. Красоткин только фискалить[25] не хотел, а этого надо избить…

– Да за что? Вы, верно, сами его дразните?

– А вот он опять вам камень в спину прислал. Он вас знает, – закричали дети. – Это он в

[25] *Фиска́лить* – ябедничать, доносить.

вас теперь кидает, а не в нас. Ну все, опять в него, не промахивайся, Смуров!

И опять началась перестрелка, на этот раз очень злая. Мальчику за канавкой ударило камнем в грудь; он вскрикнул, заплакал и побежал вверх в гору, на Михайловскую улицу. В группе загалдели: «Ага, струсил, бежал, мочалка!»

– Вы еще не знаете, Карамазов, какой он подлый, его убить мало, – повторил мальчик в курточке, с горящими глазенками, старше всех по-видимому.

– А какой он? – спросил Алеша. – Фискал, что ли?

Мальчики переглянулись как будто с усмешкой.

– Вы туда же идете, в Михайловскую? – продолжал тот же мальчик. – Так вот догоните-ка его… Вон видите, он остановился опять, ждет и на вас глядит.

– На вас глядит, на вас глядит! – подхватили мальчики.

– Так вот и спросите его, любит ли он банную мочалку, растрепанную. Слышите, так и спросите.

Раздался общий хохот. Алеша смотрел на них, а они на него.

– Не ходите, он вас зашибет, – закричал предупредительно Смуров.

– Господа, я его спрашивать о мочалке не буду, потому что вы, верно, его этим как-нибудь дразните, но я узнаю от него, за что вы его так ненавидите…

– Узнайте-ка, узнайте-ка, – засмеялись мальчики.

Алеша перешел мостик и пошел в горку мимо забора прямо к опальному[26] мальчику.

– Смотрите, – кричали ему вслед предупредительно, – он вас не побоится, он вдруг пырнет, исподтишка… как Красоткина.

Мальчик ждал его, не двигаясь с места. Подойдя совсем, Алеша увидел пред собою ребенка не более девяти лет от роду, из слабых и малорослых, с бледненьким худеньким продолговатым личиком, с большими темными и злобно смотревшими на него глазами. Одет он был в довольно ветхий старенький пальтишко, из которого уродливо вырос. Голые руки торчали из рукавов. На правой коленке панталон[27] была большая заплатка, а на правом сапоге, на носке, где большой палец, большая дырка, видно, что сильно замазанная чернилами. В оба отдувшиеся кармашка его пальто были набраны камни. Алеша остановился пред ним в двух шагах, вопросительно смотря на него. Мальчик, догадавшись тотчас по глазам Алеши, что тот его бить не хочет, тоже спустил куражу[28] и сам даже заговорил.

– Я один, а их шесть… Я их всех перебью один, – сказал он вдруг, сверкнув глазами.

– Вас один камень, должно быть, очень больно ударил, – заметил Алеша.

– А я Смурову в голову попал! – вскрикнул мальчик.

– Они мне там сказали, что вы меня знаете и за что-то в меня камнем бросили? – спросил Алеша.

Мальчик мрачно посмотрел на него.

– Я вас не знаю. Разве вы меня знаете? – допрашивал Алеша.

– Не приставайте! – вдруг раздражительно вскрикнул мальчик, сам, однако ж, не двигаясь с места, как бы все чего-то выжидая и опять злобно засверкав глазенками.

– Хорошо, я пойду, – сказал Алеша, – только я вас не знаю и не дразню. Они мне сказали, как вас дразнят, но я вас не хочу дразнить, прощайте!

– Монах в гарнитуровых[29] штанах! – крикнул мальчик, все тем же злобным и вызывающим взглядом следя за Алешей, да кстати и став в позу, рассчитывая, что Алеша

---

26 *Опáльный* – попавший (впавший) в опалу, то есть лишенный своего положения в каком-либо обществе или группе (чаще у какого-либо начальника), преследуемый.

27 *Панталóны* – брюки.

28 *Курáж* – бодрость, смелость, нахальство, задор; *спустить куражу* – успокоиться, утихомириться.

29 *Гарнитýр* – плотная шелковая ткань.

непременно бросится на него теперь, но Алеша повернулся, поглядел на него и пошел прочь. Но не успел он сделать и трех шагов, как в спину его больно ударился пущенный мальчиком самый большой булыжник, который только был у него в кармане.

– Так вы сзади? Они вправду, стало быть, говорят про вас, что вы нападаете исподтишка? – обернулся опять Алеша, но на этот раз мальчишка с остервенением опять пустил в Алешу камнем и уже прямо в лицо, но Алеша успел заслониться вовремя, и камень ударил его в локоть.

– Как вам не стыдно! Что я вам сделал? – вскричал он.

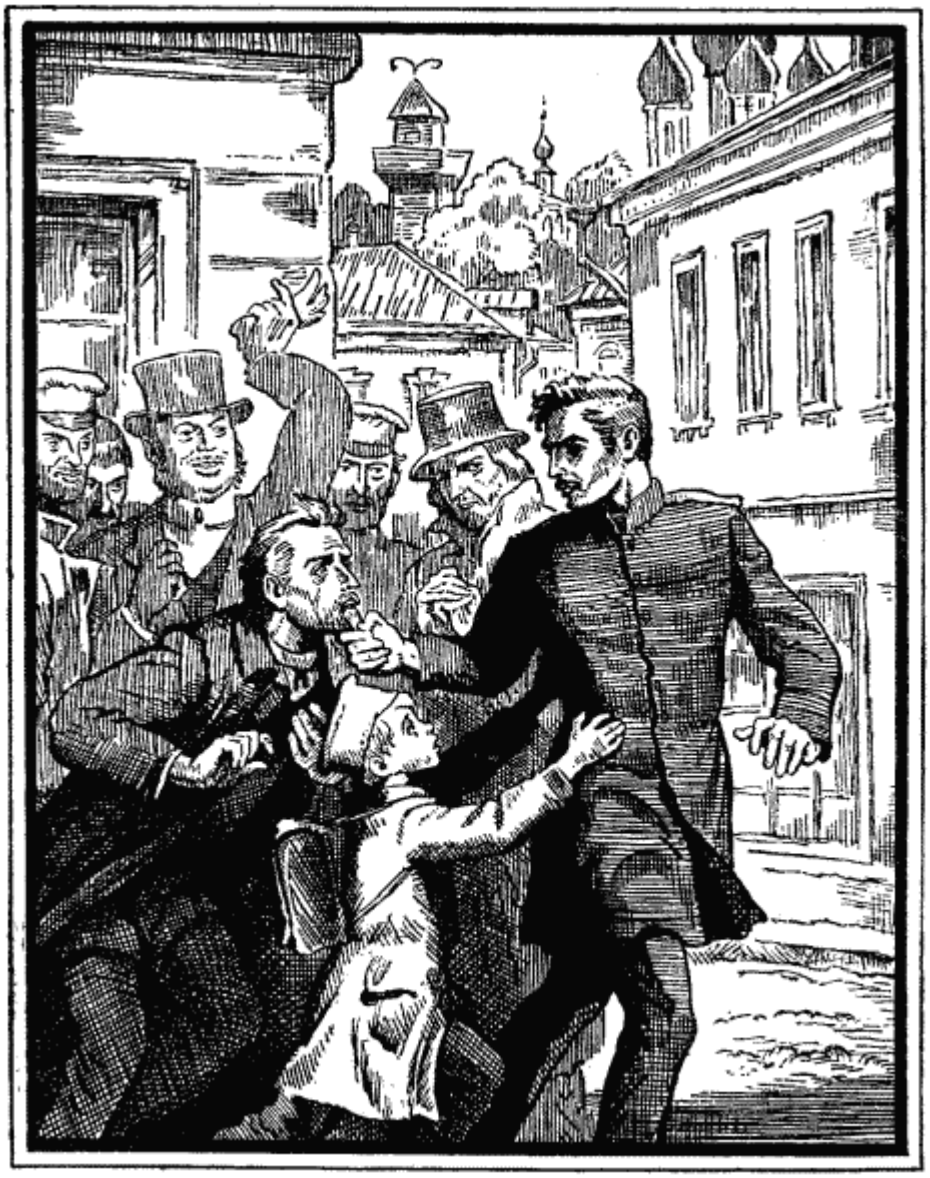
Мальчик молча и задорно ждал лишь одного, что вот теперь Алеша уж несомненно на него бросится; видя же, что тот даже и теперь не бросается, совершенно озлился, как зверенок: он сорвался с места и кинулся сам на Алешу, и не успел тот шевельнуться, как злой мальчишка, нагнув голову и схватив обеими руками его левую руку, больно укусил ему средний ее палец. Он впился в него зубами и секунд десять не выпускал его. Алеша закричал от боли, дергая изо всей силы палец. Мальчик выпустил его наконец и отскочил на прежнюю дистанцию. Палец был больно прокушен, у самого ногтя, глубоко, до кости; полилась кровь. Алеша вынул платок и крепко обернул в него раненую руку. Обертывал он почти целую минуту. Мальчишка все это время стоял и ждал. Наконец Алеша поднял на него свой тихий взор.

– Ну хорошо, – сказал он, – видите, как вы меня больно укусили, ну и довольно ведь, так ли? Теперь скажите, что я вам сделал?

Мальчик посмотрел с удивлением.

– Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу, – все так же спокойно продолжал Алеша, – но не может быть, чтоб я вам ничего не сделал, – не стали бы вы меня так мучить даром. Так что же я сделал и чем я виноват пред вами, скажите?

Вместо ответа мальчик вдруг громко заплакал, в голос, и вдруг побежал от Алеши. Алеша пошел тихо вслед за ним на Михайловскую улицу, и долго еще видел он, как бежал вдали мальчик, не умаляя шагу, не оглядываясь и, верно, все так же в голос плача. Он положил непременно, как только найдется время, разыскать его и разъяснить эту чрезвычайно поразившую его загадку…



– Я имею к вам одну большую просьбу, Алексей Федорович, – начала Катерина Ивановна[30], прямо обращаясь к Алеше. – Неделю – да, кажется, неделю назад – Дмитрий Федорович сделал один горячий и несправедливый поступок, очень безобразный. Тут есть одно нехорошее место, один трактир. В нем он встретил этого отставного офицера, штабс-капитана этого, которого ваш батюшка употреблял по каким-то своим делам. Рассердившись почему-то на этого штабс-капитана, Дмитрий Федорович схватил его за бороду и при всех вывел в этом унизительном виде на улицу и на улице еще долго вел, и говорят, что мальчик, сын этого штабс-капитана, который учится в здешнем училище, еще ребенок, увидав это, бежал все подле, и плакал вслух, и просил за отца, и бросался ко всем, и просил, чтобы защитили, а все смеялись. Простите, Алексей Федорович, я не могу вспомнить без негодования этого позорного *его* поступка… одного из таких поступков, на которые может решиться только один Дмитрий Федорович в своем гневе… и в страстях своих! Я и рассказать этого не могу, не в состоянии… Я сбиваюсь в словах. Я справлялась об этом обиженном и узнала, что он очень бедный человек. Фамилия его Снегирев. Он за что-то провинился на службе, его выключили[31], я не умею вам

---

30 *Катерина Ивановна* – невеста брата Алеши, Дмитрия Федоровича Карамазова. Алеша приходит к ней после встречи с мальчиками.

31 *Выключили* – уволили.

это рассказать, и теперь он с своим семейством, с несчастным семейством больных детей и жены, сумасшедшей кажется, впал в страшную нищету. Он уже давно здесь в городе, он что-то делает, писарем где-то был, а ему вдруг теперь ничего не платят. Я бросила взгляд на вас… то есть я думала – я не знаю, я как-то путаюсь – видите, я хотела вас просить, Алексей Федорович, добрейший мой Алексей Федорович, сходить к нему, отыскать предлог, войти к ним, то есть к этому штабс-капитану, – о боже! как я сбиваюсь – и деликатно, осторожно – именно как только вы один сумеете сделать (Алеша вдруг покраснел) – суметь отдать ему это вспоможение, вот, двести рублей. Он, наверно, примет… то есть уговорить его принять… Или нет, как это? Видите ли, это не то что плата ему за примирение, чтоб он не жаловался (потому что он, кажется, хотел жаловаться), а просто сочувствие, желание помочь, от меня, от меня, от невесты Дмитрия Федоровича, а не от него самого… Одним словом, вы сумеете… Я бы сама поехала, но вы сумеете гораздо лучше меня. Он живет в Озерной улице, в доме мещанки Калмыковой… Ради бога, Алексей Федорович, сделайте мне это, а теперь… теперь я несколько… устала. До свиданья…

Она вдруг так быстро повернулась и скрылась опять за портьеру, что Алеша не успел и слова сказать…

……..

2. В семействе штабс-капитана Снегирева

…Поручение Катерины Ивановны было дано в Озерную улицу, а брат Дмитрий жил как раз тут по дороге, недалеко от Озерной улицы в переулке. Алеша решил зайти к нему во всяком случае прежде, чем к штабс-капитану, хоть и предчувствовал, что не застанет брата. Он подозревал, что тот, может быть, как-нибудь нарочно будет прятаться от него теперь, – но во что бы то ни стало надо было его разыскать…

В поручении Катерины Ивановны промелькнуло одно обстоятельство, чрезвычайно тоже его заинтересовавшее: когда Катерина Ивановна упомянула о маленьком мальчике, школьнике, сыне того штабс-капитана, который бежал, плача в голос, подле отца, то у Алеши и тогда уже вдруг мелькнула мысль, что этот мальчик есть, наверное, тот давешний школьник, укусивший его за палец, когда он, Алеша, допрашивал его, чем он его обидел. Теперь уж Алеша был почти уверен в этом, сам не зная еще почему.

Дмитрия дома не оказалось. Хозяева домишка – старик столяр, его сын и старушка, жена его, – даже подозрительно посмотрели на Алешу. «Уж третий день как не ночует, может, куда и выбыл», – ответил старик на усиленные вопросы Алеши. Алеша разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу, с грязным двором, посреди которого уединенно стояла корова. Вход был со двора в сени; налево из сеней жила старая хозяйка со старухой дочерью, и кажется, обе глухие. На вопрос его о штабс-капитане, несколько раз повторенный, одна из них, поняв наконец, что спрашивают жильцов, ткнула ему пальцем чрез сени, указывая на дверь в чистую избу. Квартира штабс-капитана действительно оказалась только простою избой. Алеша взялся было рукой за железную скобу, чтоб отворить дверь, как вдруг необыкновенная тишина за дверями поразила его. Он знал, однако, со слов Катерины Ивановны, что отставной штабс-капитан человек семейный: «Или спят все они, или, может быть, услыхали, что я пришел, и ждут, пока я отворю; лучше я сперва постучусь к ним», – и он постучал. Ответ послышался, но не сейчас, а секунд даже, может быть, десять спустя.

– Кто таков? – прокричал кто-то громким и усиленно сердитым голосом.

Алеша отворил тогда дверь и шагнул чрез порог. Он очутился в избе, хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну чрез всю комнату была протянута веревка, на которой было развешано разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязаными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати справа виднелась лишь одна очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутою чрез веревку, протянутую поперек угла. За этою

занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к серединному окошку. Все три окна, каждое в четыре мелкие, зеленые заплесневшие стекла, были очень тусклы и наглухо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал надъеденный ломоть хлеба и сверх того находился полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на донушке. Возле левой кровати на стуле помещалась женщина, похожая на даму, одетая в ситцевое платье. Она была очень худа лицом, желтая; чрезвычайно впалые щеки ее свидетельствовали с первого раза о ее болезненном состоянии. Но всего более поразил Алешу взгляд бедной дамы – взгляд чрезвычайно вопросительный и в то же время ужасно надменный. И до тех пор пока дама не заговорила сама и пока объяснялся Алеша с хозяином, она все время так же надменно и вопросительно переводила свои большие карие глаза с одного говорившего на другого. Подле этой дамы у левого окошка стояла молодая девушка с довольно некрасивым лицом, с рыженькими жиденькими волосами, бедно, хотя и весьма опрятно одетая. Она брезгливо осматривала вошедшего Алешу. Направо, тоже у постели, сидело и еще одно женское существо. Это было очень жалкое создание, молодая тоже девушка, лет двадцати, но горбатая и безногая, с отсохшими, как сказали потом Алеше, ногами. Костыли ее стояли подле, в углу, между кроватью и стеной. Замечательно прекрасные и добрые глаза бедной девушки с какою-то спокойною кротостью поглядели на Алешу. За столом, кончая яичницу, сидел господин лет сорока пяти, невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькою редкою бородкой, весьма похожею на растрепанную мочалку (это сравнение и особенно слово «мочалка» так и сверкнули почему-то с первого же взгляда в уме Алеши, он это потом припомнил). Очевидно, этот самый господин и крикнул из-за двери: «кто таков», так как другого мужчины в комнате не было. Но когда Алеша вошел, он словно сорвался со скамьи, на которой сидел за столом, и, наскоро обтираясь дырявою салфеткой, подлетел к Алеше.

– Монах на монастырь просит, знал к кому прийти! – громко между тем проговорила стоявшая в левом углу девица.

Но господин, подбежавший к Алеше, мигом повернулся к ней на каблуках и взволнованным, срывающимся каким-то голосом ей ответил:

– Нет-с, Варвара Николавна, это не то-с, не угадали-с! Позвольте спросить в свою очередь, – вдруг опять повернулся он к Алеше, – что побудило вас-с посетить… эти недра-с?

Алеша внимательно смотрел на него, он в первый раз этого человека видел. Было в нем что-то угловатое, спешащее и раздражительное. Хотя он, очевидно, сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость и в то же время – странно это было – видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя. Или, еще лучше, на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите. В речах его и в интонации довольно пронзительного голоса слышался какой-то юродливый юмор, то злой, то робеющий, не выдерживающий тона и срывающийся. Вопрос о «недрах» задал он как бы весь дрожа, выпучив глаза и подскочив к Алеше до того в упор, что тот машинально сделал шаг назад. Одет был этот господин в темное, весьма плохое, какое-то нанковое[32] пальто, заштопанное и в пятнах. Панталоны на нем были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи, смятые снизу и сбившиеся оттого наверх, точно он из них, как маленький мальчик, вырос.

– Я… Алексей Карамазов… – проговорил было в ответ Алеша.

– Отменно умею понимать-с, – тотчас же отрезал господин, давая знать, что ему и без того известно, кто он такой. – Штабс я капитан-с Снегирев-с, в свою очередь; но все же желательно узнать, что именно побудило…

– Да я так только зашел. Мне, в сущности, от себя хотелось бы вам сказать одно слово… Если только позволите…

– В таком случае вот и стул-с, извольте взять место-с. Это в древних комедиях говорили:

---

[32] *На́нка* – простая, грубая ткань.

«Извольте взять место»… – и штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул (простой мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый) и поставил его чуть не посредине комнаты; затем, схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алеши, по-прежнему к нему в упор и так, что колени их почти соприкасались вместе.

– Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Слово-ер-с[33] приобретается в унижении.

– Это так точно, – усмехнулся Алеша, – только невольно приобретается или нарочно?

– Видит Бог, невольно. Все не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшею силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем, однако, мог возбудить столь любопытства, ибо живу в обстановке, невозможной для гостеприимства.

– Я пришел… по тому самому делу…

– По тому самому делу? – нетерпеливо прервал штабс-капитан.

– По поводу той встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем, – неловко отрезал Алеша.

– Какой же это встречи-с? Это уж не той ли самой-с? Значит, насчет мочалки, банной мочалки? – надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжались в ниточку.

– Какая это мочалка? – пробормотал Алеша.

– Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел! – крикнул знакомый уже Алеше голосок давешнего мальчика из-за занавески в углу. – Это я ему давеча палец укусил! – Занавеска отдернулась, и Алеша увидел давешнего врага своего, в углу, под образами, на прилаженной на лавке и на стуле постельке. Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньким ватным одеяльцем. Очевидно, был нездоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу: «Дома, дескать, теперь не достанешь».

– Какой такой палец укусил? – привскочил со стула штабс-капитан. – Это вам он палец укусил-с?

– Да, мне. Давеча он на улице с мальчиками камнями перебрасывался; они в него шестеро кидают, а он один. Я подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я спросил: что я ему сделал? Он вдруг бросился и больно укусил мне палец, не знаю за что.

– Сейчас высеку-с! Сею минутой высеку-с, – совсем уже вскочил со стула штабс-капитан.

– Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал… Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он, кажется, теперь и болен…

– А вы думали, я высеку-с? Что я Илюшечку возьму да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения? Скоро вам это надо-с? – проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алеше с таким жестом, как будто хотел на него броситься. – Жалею, сударь, о вашем пальчике, но не хотите ли я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца, сейчас же на ваших глазах, для вашего справедливого удовлетворения, вот этим самым ножом оттяпаю. Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно-с для утоления жажды мщения-с, пятого не потребуете?.. – Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в исступлении.

– Я, кажется, теперь все понял, – тихо и грустно ответил Алеша, продолжая сидеть. – Значит, ваш мальчик – добрый мальчик, любит отца и бросился на меня как на брата вашего обидчика… Это я теперь понимаю, – повторил он раздумывая. – Но брат мой Дмитрий

---

[33] Добавление «с» (в дореволюционной России писалось «сѣ», сокращенное «сударь») к тому или иному слову означало подчеркнуто уважительное отношение к собеседнику; чаще употреблялось младшими по положению при обращении к старшему. *Говорить со словоерсами* – говорить подобным образом, добавляя «с».

Федорович раскаивается в своем поступке, я знаю это, и если только ему возможно будет прийти к вам, или всего лучше свидеться с вами опять в том самом месте, то он попросит у вас при всех прощения… если вы пожелаете.

– То есть вырвал бороденку и попросил извинения… Все, дескать, закончил и удовлетворил, так ли-с?

– О нет, напротив, он сделает все, что вам будет угодно и как вам будет угодно!

– Так что если б я попросил его светлость стать на коленки предо мной в этом самом трактире-с – «Столичный город» ему наименование – или на площади-с, так он и стал бы?

– Да, он станет и на колени.

– Пронзили-с. Прослезили меня и пронзили-с. Слишком наклонен чувствовать. Позвольте же отрекомендоваться вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын. Умру я, кто-то их возлюбит-с? А пока живу я, кто-то меня, сквернень кого, кроме них, возлюбит? Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с…

– Ах, это совершенная правда! – воскликнул Алеша.

– Да полноте наконец паясничать, какой-нибудь дурак придет, а вы срамите! – вскрикнула неожиданно девушка у окна, обращаясь к отцу с брезгливою и презрительною миной.

– Повремените немного, Варвара Николаевна, позвольте выдержать направление, – крикнул ей отец, хотя и повелительным тоном, но, однако, весьма одобрительно смотря на нее. – Это уж у нас такой характер-с, – повернулся он опять к Алеше.

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел[34].

То есть надо бы в женском роде: благословить она не хотела-с. Но позвольте вас представить и моей супруге: вот-с Арина Петровна, дама без ног-с, лет сорока трех, ноги ходят, да немножко-с. Из простых-с. Арина Петровна, разгладьте черты ваши: вот Алексей Федорович Карамазов. Встаньте, Алексей Федорович, – он взял его за руку и с силой, которой даже нельзя было ожидать от него, вдруг его приподнял. – Вы даме представляетесь, надо встать-с. Не тот-с Карамазов, маменька, который… гм и так далее, а брат его, блистающий смиренными добродетелями. Позвольте, Арина Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать.

И он почтительно, нежно даже поцеловал у супруги ручку. Девица у окна с негодованием повернулась к сцене спиной, надменно-вопросительное лицо супруги вдруг выразило необыкновенную ласковость.

– Здравствуйте, садитесь, господин Черномазов, – проговорила она.

– Карамазов, маменька, Карамазов (мы из простых-с), – подшепнул он снова.

– Ну, Карамазов или как там, а я всегда Черномазов… Садитесь же, и зачем он вас поднял? Дама без ног, он говорит, ноги-то есть, да распухли, как ведра, а сама я высохла. Прежде-то я куды была толстая, а теперь вон словно иглу проглотила…

И бедная вдруг разрыдалась, слезы брызнули ручьем. Штабс-капитан стремительно подскочил к ней.

---

[34] Заключительные строки стихотворения Пушкина «Демон».

– Маменька, маменька, голубчик, полно, полно! Не одинокая ты. Все-то тебя любят, все обожают! – и он начал опять целовать у нее обе руки и нежно стал гладить по ее лицу своими ладонями; схватив же салфетку, начал вдруг обтирать с лица ее слезы. Алеше показалось даже, что у него и у самого засверкали слезы. – Ну-с, видели-с? Слышали-с? – как-то вдруг яростно обернулся он к нему, показывая рукой на бедную слабоумную.

– Вижу и слышу, – пробормотал Алеша.

– Папа, папа! Неужели ты с ним… Брось ты его, папа! – крикнул вдруг мальчик, привстав на своей постельке и горящим взглядом смотря на отца.

– Да полноте вы наконец паясничать, ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда не ведут!.. – совсем уже озлившись, крикнула все из того угла Варвара Николаевна, даже ногой топнула.

– Совершенно справедливо на этот раз изволите из себя выходить, Варвара Николаевна, и я вас стремительно удовлетворю. Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз возьму – и пойдемте-с. Надобно вам одно серьезное словечко сказать, только вне этих стен. Эта вот сидящая девица – это дочка моя-с, Нина Николаевна-с, забыл я вам ее представить – ангел Божий во плоти… к смертным слетевший… если можете только это понять…

– Весь ведь так и сотрясается, словно судорогой его сводит, – продолжала в негодовании Варвара Николаевна.

– А эта, вот что теперь на меня ножкой топает и паяцем меня давеча обличила, – это тоже ангел Божий во плоти-с и справедливо меня обозвала-с. Пойдемте же, Алексей Федорович,

покончить надо-с…

И, схватив Алешу за руку, он вывел его из комнаты прямо на улицу…

– Воздух чистый-с, а в хоромах-то у меня и впрямь несвежо, во всех даже смыслах. Пройдемте, сударь, шажком. Очень бы хотелось мне вас заинтересовать-с.

– Я и сам к вам имею одно чрезвычайное дело… – заметил Алеша, – и только не знаю, как мне начать.

– Как не узнать, что у вас до меня дело-с? Без дела-то вы бы никогда ко мне и не заглянули. Али в самом деле только жаловаться на мальчика приходили-с? Так ведь это невероятно-с. А кстати о мальчике-с: я вам там всего изъяснить не мог-с, а здесь теперь сцену эту вам опишу-с. Видите ли, мочалка-то была гуще-с, еще всего неделю назад, – я про бороденку мою говорю-с; это ведь бороденку мою мочалкой прозвали, школьники главное-с. Ну-с, вот-с, тянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович за мою бороденку, вытянул из трактира на площадь, а как раз школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как увидал он меня в таком виде-с, бросился ко мне: «Папа, кричит, папа!» Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня вырвать, кричит моему обидчику: «Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите его», – так ведь и кричит: «Простите»; ручонками-то тоже его схватил, да руку-то ему, эту самую-то руку его, и целует-с… Помню я в ту минуту, какое у него было личико-с, не забыл-с и не забуду-с!..

– Клянусь, – воскликнул Алеша, – брат вам самым искренним образом, самым полным, выразит раскаяние, хотя бы даже на коленях на той самой площади… Я заставлю его, иначе он мне не брат!

– Ага, так это еще в прожекте находится. Не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит пылкого-с. Так бы и сказали-с. Нет, уж в таком случае позвольте мне и о высочайшем рыцарском и офицерском благородстве вашего братца досказать, ибо он его тогда выразил-с. Кончил он это меня за мочалку тащить, пустил на волю-с: «Ты, говорит, офицер, и я офицер, если можешь найти секунданта, порядочного человека, то присылай – дам удовлетворение, хотя бы ты и мерзавец!» Воистину рыцарский дух! Удалились мы тогда с Илюшей, а родословная фамильная картина навеки у Илюши в памяти душевной отпечатлелась. Нет уж, где нам дворянами оставаться-с. Да и посудите сами-с, изволили сами быть сейчас у меня в хоромах – что видели-с? Три дамы сидят-с, одна без ног слабоумная, другая без ног горбатая, а третья с ногами, да слишком уж умная, курсистка-с[35], в Петербург снова рвется, там на берегах Невы права женщины русской отыскивать. Про Илюшу не говорю-с, всего девять лет-с, один как перст, ибо умри я – и что со всеми этими недрами станется, я только про это одно вас спрошу-с? А если так, то вызови я его на дуэль, а ну как он меня тотчас же и убьет, ну что же тогда? С ними-то тогда со всеми что станется-с? Еще хуже того, если он не убьет, а лишь только меня искалечит: работать нельзя, а рот-то все-таки остается, кто ж его накормит тогда, мой рот, и кто ж их-то всех тогда накормит-с? Аль Илюшу вместо школы милостыню просить высылать ежедневно? Так вот что оно для меня значит-с на дуэль-то его вызвать-с, глупое это слово-с, и больше ничего-с.

– Он будет у вас просить прощения, он посреди площади вам в ноги поклонится, – вскричал опять Алеша с загоревшимся взором.

– Хотел я его в суд позвать, – продолжал штабс-капитан, – но разверните наш кодекс, много ль мне придется удовлетворения за личную обиду мою с обидчика получить-с? Вследствие всего сего я и притих-с, и вы недра видели-с. А теперь позвольте спросить: больно он вам пальчик давеча укусил, Илюша-то? В хоромах-то я при нем войти в сию подробность не решился.

– Да, очень больно, и он очень был раздражен. Он мне как Карамазову за вас отомстил, мне это ясно теперь. Но если бы вы видели, как он с товарищами-школьниками камнями перекидывался! Это очень опасно, они могут его убить, они дети, глупы, камень летит и может голову проломить.

– Да уж и попало-с, не в голову, так в грудь-с, повыше сердца-с, сегодня удар камнем,

---

[35] Курси́стка – слушательница женских курсов.

синяк-с, пришел, плачет, охает, а вот и заболел.

– И знаете, ведь он там сам первый и нападает на всех, он озлился за вас, они говорят, что он одному мальчику, Красоткину, давеча в бок перочинным ножиком пырнул…

– Слышал и про это, опасно-с: Красоткин это чиновник здешний, еще, может быть, хлопоты выйдут-с…

– Я бы вам советовал, – с жаром продолжал Алеша, – некоторое время не посылать его вовсе в школу, пока он уймется… и гнев этот в нем пройдет…

– Гнев-с! – подхватил штабс-капитан, – именно гнев-с. В маленьком существе, а великий гнев-с. Вы этого всего не знаете-с. Позвольте мне пояснить эту повесть особенно. Дело в том, что после того события все школьники в школе стали его «мочалкой» дразнить. Дети в школах народ безжалостный: порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны. Начали они его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, – тот бы смирился, отца своего застыдился, а этот один против всех восстал за отца. За отца и за истину-с, за правду-с. Ибо что он тогда вынес, как вашему братцу руки целовал и кричал ему: «Простите папочку, простите папочку», – то это только Бог один знает да я-с. И вот так-то детки наши – то есть не ваши, а наши-с, детки презренных, но благородных нищих-с, правду на земле еще в девять лет от роду узнают-с. Богатым где: те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на площади-то-с, как руки-то его целовал, в ту самую минуту всю истину произошел-с[36]. Вошла в него эта истина-с и пришибла его навеки-с, – горячо и опять как бы в исступлении произнес штабс-капитан и при этом ударил правым своим кулаком в левую ладонь, как бы желая наяву выразить, как пришибла его Илюшу «истина». – В тот самый день он у меня в лихорадке был-с, всю ночь бредил. Весь тот день мало со мной говорил, совсем молчал даже, только заметил я: глядит, глядит на меня из угла, а все больше к окну припадает и делает вид, будто бы уроки учит, а я вижу, что не уроки у него на уме. На другой день я выпил-с и многого не помню-с, грешный человек, с горя-с. Маменька тоже тут плакать начала-с – маменьку-то я очень люблю-с – ну с горя и клюкнул на последние-с. Вы, сударь, не презирайте меня: в России пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Лежу это я и Илюшу в тот день не очень запомнил, а в тот-то именно день мальчишки и подняли его на смех в школе с утра-с: «Мочалка, – кричат ему, – отца твоего за мочалку из трактира тащили, а ты подле бежал и прощения просил». На третий это день пришел он опять из школы, смотрю – лица на нем нет, побледнел. Что ты? – говорю. Молчит. Ну в хоромах-то нечего было разговаривать, а то сейчас маменька и девицы участие примут, – девицы-то к тому же все уже узнали, даже еще в первый день. Варвара-то Николаевна уже стала ворчать: «Шуты, паяцы, разве может у вас что разумное быть?» – «Так точно, говорю, Варвара Николаевна, разве может у нас что разумное быть?» Тем на тот раз и отделался. Вот-с к вечеру я и вывел мальчика погулять. А мы с ним, надо вам знать-с, каждый вечер и допрежь того гулять выходили, ровно по тому самому пути, по которому с вами теперь идем, от самой нашей калитки до вон того камня большущего, который вон там на дороге сиротой лежит у плетня и где выгон городской начинается: место пустынное и прекрасное-с. Идем мы с Илюшей, ручка его в моей руке, по обыкновению; махонькая у него ручка, пальчики тоненькие, холодненькие, – грудкой ведь он у меня страдает. «Папа, говорит, папа!» – «Что?» – говорю ему, глазенки, вижу, у него сверкают. «Папа, как он тебя тогда, папа!» – «Что делать, Илюша», – говорю. «Не мирись с ним, папа, не мирись. Школьники говорят, что он тебе десять рублей за это дал». – «Нет, говорю, Илюша, я денег от него не возьму теперь ни за что». Так он и затрясся весь, схватил мою руку в свои обе ручки, опять целует. «Папа, говорит, папа, вызови его на дуэль, в школе дразнят, что ты трус и не вызовешь его на дуэль, а десять рублей у него возьмешь». – «На дуэль, Илюша, мне нельзя его вызвать», – отвечаю я и излагаю ему вкратце все то, что и вам на сей счет сейчас изложил. Выслушал он. «Папа, говорит, папа, все-таки не мирись: я вырасту, я вызову его сам и убью его!» Глазенки-то сверкают и горят. Ну, при всем том ведь я и отец, надобно ж было ему слово правды сказать. «Грешно, – говорю я ему, – убивать, хотя бы и на поединке». – «Папа, говорит, папа, я его

---

36 *Произошел* – понял.

повалю, как большой буду, я ему саблю выбью своей саблей, брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы сейчас убить, но прощаю тебя, вот тебе!» Видите, видите, сударь, какой процессик в головке-то его произошел в эти два дня, это он день и ночь об этом именно мщении с саблей думал и ночью, должно быть, об этом бредил-с. Только стал он из школы приходить больно битый, это третьего дня я все узнал, и вы правы-с; больше уж в школу эту я его не пошлю-с. Узнаю я, что он против всего класса один идет и всех сам вызывает, сам озлился, сердце в нем зажглось, – испугался я тогда за него. Опять ходим гуляем. «Папа, спрашивает, ведь богатые всех сильнее на свете?» – «Да, говорю, Илюша, нет на свете сильнее богатого». – «Папа, говорит, я разбогатею, я в офицеры пойду и всех разобью, меня царь наградит, я приеду, и тогда никто не посмеет. – Потом помолчал, да и говорит – губенки-то у него все по-прежнему вздрагивают: – Папа, говорит, какой это нехороший город наш, папа!» – «Да, говорю, Илюшечка, не очень-таки хорош наш город». – «Папа, переедем в другой город, в хороший, говорит, город, где про нас и не знают». – «Переедем, говорю, переедем, Илюша, – вот только денег скоплю». Обрадовался я случаю отвлечь его от мыслей темных, и стали мы мечтать с ним, как мы в другой город переедем, лошадку свою купим да тележку. Маменьку да сестриц усадим, закроем их, а сами сбоку пойдем, изредка тебя подсажу, а я тут подле пойду, потому лошадку свою поберечь надо, не всем же садиться, так и отправимся. Восхитился он этим, а главное, что своя лошадка будет и сам на ней поедет. А уж известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой. Болтали мы долго, слава богу, думаю, развлек я его, утешил. Это третьего дня вечером было, а вчера вечером уже другое оказалось. Опять он утром в эту школу пошел, мрачный вернулся, очень уж мрачен. Вечером взял я его за ручку, вывел гулять, молчит, не говорит. Ветерок тогда начался, солнце затмилось, осенью повеяло, да и смеркалось уж – идем, обоим нам грустно. «Ну, мальчик, как же мы, говорю, с тобой в дорогу-то соберемся», – думаю на вчерашний-то разговор навести. Молчит. Только пальчики его, слышу, в моей руке вздрогнули. Э, думаю, плохо, новое есть. Дошли мы, вот как теперь, до этого самого камня, сел я на камень этот, а на небесах все змеи запущены, гудят и трещат, змеев тридцать видно. Ведь ныне змеиный сезон-с. «Вот, говорю, Илюша, пора бы и нам змеек прошлогодних запустить. Починю-ка я его, где он у тебя там спрятан?» Молчит мой мальчик, глядит в сторону, стоит ко мне боком. А тут ветер вдруг загудел, понесло песком… Бросился он вдруг ко мне весь, обнял мне обеими ручонками шею, стиснул меня. Знаете, детки коли молчаливые да гордые, да слезы долго перемогают в себе, да как вдруг прорвутся, если горе большое придет, так ведь не то что слезы потекут-с, а брызнут, словно ручьи-с. Теплыми-то брызгами этими так вдруг и обмочил он мне все лицо. Зарыдал как в судороге, затрясся, прижимает меня к себе, я сижу на камне. «Папочка, вскрикивает, папочка, милый папочка, как он тебя унизил!» Зарыдал тут и я-с, сидим и сотрясаемся обнявшись. «Папочка, говорит, папочка!» – «Илюша, – говорю ему, – Илюшечка!» Никто-то нас тогда не видел-с, Бог один видел, авось мне в формуляр занесет-с. Поблагодарите вашего братца, Алексей Федорович. Нет-с, я моего мальчика для вашего удовлетворения не высеку-с!

Кончил он опять со своим давешним злым и юродливым вывертом. Алеша почувствовал, однако, что ему уж он доверяет и что будь на его месте другой, то с другим этот человек не стал бы так «разговаривать» и не сообщил бы ему того, что сейчас ему сообщил. Это ободрило Алешу, у которого душа дрожала от слез.

– Ах, как бы мне хотелось помириться с вашим мальчиком! – воскликнул он. – Если бы вы это устроили…

– Точно так-с, – пробормотал штабс-капитан.

– Но теперь не про то, совсем не про то, слушайте, – продолжал восклицать Алеша, – слушайте! Я имею к вам поручение: этот самый мой брат, этот Дмитрий, оскорбил и свою невесту, благороднейшую девушку, и о которой вы, верно, слышали. Я имею право вам открыть про ее оскорбление, я даже должен так сделать, потому что она, узнав про вашу обиду и узнав все про ваше несчастное положение, поручила мне сейчас… давеча… снести вам это вспоможение от нее… но только от нее одной, не от Дмитрия, который и ее бросил, отнюдь нет, и не от меня, от брата его, и не от кого-нибудь, а от нее, только от нее одной! Она вас умоляет принять ее помощь… вы оба обижены одним и тем же человеком… Она и вспомнила-то о вас лишь тогда, когда вынесла от него такую же обиду (по силе обиды), как и вы от него! Это

значит, сестра идет к брату с помощью… Она именно поручила мне уговорить вас принять от нее вот эти двести рублей как от сестры. Никто-то об этом не узнает, никаких несправедливых сплетен не может произойти… вот эти двести рублей, и, клянусь, вы должны принять их, иначе… иначе, стало быть, все должны быть врагами друг другу на свете! Но ведь есть же и на свете братья… У вас благородная душа… вы должны это понять, должны!..

И Алеша протянул ему две новенькие радужные сторублевые кредитки. Оба они стояли тогда именно у большого камня, у забора, и никого кругом не было. Кредитки произвели, казалось, на штабс-капитана страшное впечатление: он вздрогнул, но сначала как бы от одного удивления: ничего подобного ему и не мерещилось, и такого исхода он не ожидал вовсе. Помощь от кого-нибудь, да еще такая значительная, ему и не мечталась даже во сне. Он взял кредитки и с минуту почти и отвечать не мог, совсем что-то новое промелькнуло в лице его.

– Это мне-то, мне-с, это столько денег, двести рублей! Батюшки! Да я уж четыре года не видал таких денег, Господи! И говорит, что сестра… и вправду это, вправду?

– Клянусь вам, что все, что я вам сказал, правда! – вскричал Алеша.

Штабс-капитан покраснел.

– Послушайте-с, голубчик мой, послушайте-с, ведь если я и приму, то ведь не буду же я подлецом? В глазах-то ваших, Алексей Федорович, ведь не буду, не буду подлецом? Нет-с, Алексей Федорович, вы выслушайте, выслушайте-с, – торопился он, поминутно дотрогиваясь до Алеши обеими руками, – вы вот уговариваете меня принять тем, что «сестра» посылает, а внутри-то, про себя-то – не восчувствуете ко мне презрения, если я приму-с, а?

– Да нет же, нет! Спасением моим клянусь вам, что нет! И никто не узнает никогда, только мы: я, вы да она.

– Слушайте, Алексей Федорович, выслушайте-с, ведь уж теперь минута такая пришла-с, что надо выслушать, ибо вы даже и понять не можете, что могут значить для меня теперь эти двести рублей, – продолжал бедняк, приходя постепенно в какой-то беспорядочный, почти дикий восторг. Он был как бы сбит с толку, говорил же чрезвычайно спеша и торопясь, точно опасаясь, что ему не дадут всего высказать. – Кроме того, что это честно приобретено, от столь уважаемой и святой «сестры-с», знаете ли вы, что я маменьку и Ниночку – горбатенького-то ангела моего, дочку-то, полечить теперь могу? Приезжал ко мне доктор Герценштубе, по доброте своего сердца, осматривал их обеих целый час: «Не понимаю, говорит, ничего», а, однако же, минеральная вода, которая в аптеке здешней есть (прописал он ее), несомненную пользу ей принесет, да ванны ножные из лекарств тоже ей прописал. Минеральная-то вода стоит тридцать копеек, а кувшинов-то надо выпить, может быть, сорок. Так я взял да рецепт и положил на полку под образа, да там и лежит. А Ниночку прописал купать в каком-то растворе, в горячих ваннах таких, да ежедневно утром и вечером, так где ж нам было сочинить такое леченье-с, у нас-то, в хоромах-то наших, без прислуги, без помощи, без посуды и воды-с? А Ниночка-то вся в ревматизме, я вам это еще и не говорил, по ночам ноет у ней вся правая половина, мучается и, верите ли, ангел Божий, крепится, чтобы нас не обеспокоить, не стонет, чтобы нас не разбудить. Кушаем мы что попало, что добудется, так ведь она самый последний кусок возьмет, что собаке только можно выкинуть: «Не стою я, дескать, этого куска, я у вас отнимаю, вам бременем сижу». Вот что ее взгляд ангельский хочет изобразить. Служим мы ей, а ей это тягостно: «Не стою я того, не стою, недостойная я калека, бесполезная», – а еще бы она не стоила-с, когда она всех нас своею ангельскою кротостью у Бога вымолила, без нее, без ее тихого слова, у нас был бы ад-с, даже Варю и ту смягчила. А Варвару-то Николавну тоже не осуждайте-с, тоже ангел она, тоже обиженная. Прибыла она к нам летом, а было с ней шестнадцать рублей, уроками заработала и отложила их на отъезд, чтобы в сентябре, то есть теперь-то, в Петербург на них воротиться. А мы взяли денежки-то ее и прожили и не на что ей теперь воротиться, вот как-с. Да и нельзя воротиться-то, потому на нас, как каторжная, работает – ведь мы ее как клячу запрягли-оседлали, за всеми ходит, чинит, моет, пол метет, маменьку в постель укладывает, а маменька капризная-с, а маменька слезливая-с, а маменька сумасшедшая-с!.. Так ведь теперь я на эти двести рублей служанку нанять могу-с, понимаете ли вы, Алексей Федорович, лечение милых существ предпринять могу-с, курсистку в Петербург направлю-с, говядины куплю-с, диету новую заведу-с. Господи, да ведь это мечта!

Алеша был ужасно рад, что доставил столько счастия и что бедняк согласился быть

осчастливленным.

– Стойте, Алексей Федорович, стойте, – схватился опять за новую, вдруг представившуюся ему мечту штабс-капитан и опять затараторил исступленною скороговоркой, – да знаете ли вы, что мы с Илюшкой, пожалуй, и впрямь теперь мечту осуществим: купим лошадку, да кибитку, да лошадку-то вороненькую, он просил непременно, чтобы вороненькую, да и отправимся, как третьего дня расписывали. У меня в К-ской губернии адвокат есть знакомый-с, с детства приятель-с, передавали мне чрез верного человека, что если приеду, то он мне у себя на конторе место письмоводителя будто бы даст-с, так ведь, кто его знает, может, и даст… Ну так посадить бы маменьку, посадить бы Ниночку, Илюшечку править посажу, а я бы пешечком, пешечком, да всех бы и повез-с… Господи, да если бы только один должок пропащий здесь получить, так, может, достанет даже и на это-с!

– Достанет, достанет! – воскликнул Алеша, – Катерина Ивановна вам пришлет еще, сколько угодно, и знаете ли, у меня тоже есть деньги, возьмите сколько вам надо, как от брата, как от друга, потом отдадите… (Вы разбогатеете, разбогатеете!) И знаете, что никогда вы ничего лучше даже и придумать не в состоянии, как этот переезд в другую губернию! В этом ваше спасение, а главное, для вашего мальчика – и знаете, поскорее бы, до зимы, до холодов, и написали бы нам оттуда, и остались бы мы братьями… Нет, это не мечта!

Алеша хотел было обнять его, до того он был доволен. Но, взглянув на него, он вдруг остановился: тот стоял, вытянув шею, вытянув губы, с исступленным и побледневшим лицом и что-то шептал губами, как будто желая что-то выговорить; звуков не было, а он все шептал губами, было как-то странно.

– Чего вы! – вздрогнул вдруг отчего-то Алеша.

– Алексей Федорович… я… вы… – бормотал и срывался штабс-капитан, странно и дико смотря на него в упор с видом решившего полететь с горы, и в то же время губами как бы и улыбаясь, – я-с… вы-с… А не хотите ли, я вам один фокусик сейчас покажу-с! – вдруг прошептал он быстрым, твердым шепотом, речь уже не срывалась более.

– Какой фокусик?

– Фокусик, фокус-покус такой, – все шептал штабс-капитан; рот его скривился на левую сторону, левый глаз прищурился, он, не отрываясь, все смотрел на Алешу, точно приковался к нему.

– Да что с вами, какой фокус? – прокричал тот уж совсем в испуге.

– А вот какой, глядите! – взвизгнул вдруг штабс-капитан.

И показав ему обе радужные кредитки, которые все время, в продолжение всего разговора, держал обе вместе за уголок большим и указательным пальцами правой руки, он вдруг с каким-то остервенением схватил их, смял и крепко зажал в кулаке правой руки.

– Видели-с, видели-с! – взвизгнул он Алеше, бледный и исступленный, и вдруг, подняв вверх кулак, со всего размаху бросил обе смятые кредитки на песок, – видели-с? – взвизгнул он опять, показывая на них пальцем, – ну так вот же-с!..

И вдруг подняв правую ногу, он с дикою злобой бросился их топтать каблуком, восклицая и задыхаясь с каждым ударом ноги.

– Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! – Вдруг он отскочил назад и выпрямился пред Алешей. Весь вид его изобразил собой неизъяснимую гордость.

– Доложите пославшим вас, что мочалка чести своей не продает-с! – вскричал он, простирая на воздух руку. Затем быстро повернулся и бросился бежать; но он не пробежал и пяти шагов, как, весь повернувшись опять, вдруг сделал Алеше ручкой. Но и опять не пробежав пяти шагов, он в последний уже раз обернулся, на этот раз без искривленного смеха в лице, а напротив, все оно сотрясалось слезами. Плачущею, срывающеюся, захлебывающеюся скороговоркой прокричал он:

– А что ж бы я моему мальчику-то сказал, если б у вас деньги за позор наш взял? – и, проговорив это, бросился бежать, на сей раз уже не оборачиваясь. Алеша глядел ему вслед с невыразимою грустью. О, он понимал, что тот до самого последнего мгновения сам не знал, что скомкает и швырнет кредитки. Бежавший ни разу не обернулся, так и знал Алеша, что не обернется. Преследовать и звать его он не захотел, он знал почему. Когда же тот исчез из виду, Алеша поднял обе кредитки. Они были лишь очень смяты, сплюснуты и вдавлены в песок, но

совершенно целы и даже захрустели, как новенькие, когда Алеша развертывал их и разглаживал. Разгладив, он сложил их, сунул в карман и пошел к Катерине Ивановне докладывать об успехе ее поручения…

3. Коля Красоткин

Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в одиннадцать, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снегу, и ветер «сухой и острый» подымает его и метет по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Утро мутное, но снежок перестал. Недалеко от площади, поблизости от лавки Плотниковых, стоит небольшой, очень чистенький и снаружи и снутри домик вдовы чиновника Красоткиной. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, тому назад почти четырнадцать лет, но вдова его, тридцатилетняя и до сих пор еще весьма смазливая собой дамочка, жива и живет в своем чистеньком домике «своим капиталом». Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. Осталась она после мужа лет восемнадцати, прожив с ним всего лишь около году и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка[37] мальчика Коли, и хоть любила его все четырнадцать лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится, и проч. и проч. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли, школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было чрез нее над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, «ужасно сильный», как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе, был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики и из всемирной истории собьет самого учителя Дарданелова. Но мальчик хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Уважение школьников принимал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней и заветной черты, за которою уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И, однако, он очень, очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае, пошалить как самый последний мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать «экстрафеферу», шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее «мало любит». Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней «бесчувствен», и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходило это у него не нарочно, а невольно – таков уж был характер. Мать ошибалась: маму свою он очень любил, а не любил только «телячьих нежностей», как выражался он на своем школьническом языке. После отца остался шкап, в котором хранилось несколько книг; Коля любил читать и про себя прочел уже некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик, вместо того чтоб идти играть, простаивает у шкапа по целым часам над какою-нибудь книжкой. И таким образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее время хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известной черты, но начались шалости, испугавшие мать не на шутку, – правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные. Как раз в это лето, в июле

[37] *Не́щечко* – сокровище, любимое существо.

месяце, во время вакаций[38], случилось так, что маменька с сынком отправились погостить на недельку в другой уезд, за семьдесят верст, к одной дальней родственнице, муж которой служил на станции железной дороги…

Там Коля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой, между школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и сошелся; одни из них проживали на станции, другие по соседству – всего молодого народа от двенадцати до пятнадцати лет сошлось человек шесть или семь, а из них двое случились и из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили, и вот на четвертый или на пятый день гощения на станции состоялось между глупою молодежью одно преневозможное пари в два рубля, именно: Коля, почти изо всех младший, а потому несколько презираемый старшими, из самолюбия или из беспардонной отваги, предложил, что он, ночью, когда придет одиннадцатичасовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего, но, однако же, каково пролежать! Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала смеялись, звали лгунишкой, фанфароном, но тем пуще его подзадорили. Главное, эти пятнадцатилетние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как «маленького», что было уже нестерпимо обидно. И вот решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рельсами. Пятеро остальных, державших пари, с замиранием сердца, а наконец в страхе и с раскаянием, ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец загремел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы два красные фонаря, загрохотало приближающееся чудовище. «Беги, беги долой с рельсов!» – закричали Коле из кустов умиравшие от страха мальчишки, но было уже поздно: поезд наскакал и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле: он лежал недвижимо. Они стали его теребить, начали подымать. Он вдруг поднялся и молча сошел с насыпи. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал как без чувств, чтоб их испугать, но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как и признался потом сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом, слава «отчаянного» за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на станцию бледный как полотно. На другой день заболел слегка нервною лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе, проникло и в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него уважаемый и влиятельный учитель Дарданелов, и дело оставили втуне, как не бывшее вовсе. Этот Дарданелов, человек холостой и нестарый, был страстно и уже многолетне влюблен в госпожу Красоткину и уже раз, назад тому с год, почтительнейше и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку; но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику, хотя Дарданелов, по некоторым таинственным признакам, даже, может быть, имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лед, и Дарданелову за его заступничество сделан был намек о надежде, правда отдаленный, но и сам Дарданелов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и того было покамест довольно для полноты его счастия. Мальчика он любил, хотя считал бы унизительным пред ним заискивать, и относился к нему в классах строго и требовательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии, уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником, обращался к Дарданелову сухо, и весь класс твердо верил, что во всемирной истории Коля так силен, что «собьет» самого Дарданелова. И действительно, Коля задал ему раз вопрос: «Кто основал Трою?» – на что Дарданелов отвечал лишь вообще про народы, их движения и переселения, про глубину времен, про баснословие, но на то, кто именно основал Трою, то есть какие именно

---

[38] *Вака́ции* – каникулы.

лица, ответить не мог, и даже вопрос нашел почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в уверенности, что Дарданелов не знает, кто основал Трою. Коля же вычитал об основателях Трои у Смарагдова[39], хранившегося в шкапе с книгами, который остался после родителя. Кончилось тем, что всех даже мальчиков стало наконец интересовать: кто ж именно основал Трою, но Красоткин своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним незыблемо.

После случая на железной дороге у Коли в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоровна (вдова Красоткина) узнала о подвиге сынка, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с перемежками несколько дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях пред образом[40] и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина, причем «мужественный» Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик, от «чувств», и мать и сын во весь тот день бросались друг другу в объятия и плакали сотрясаясь. На другой день Коля проснулся по-прежнему «бесчувственным», однако стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда, месяца чрез полтора он опять было попался в одной шалости, и имя его сделалось даже известным нашему мировому судье, но шалость была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая, да и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в нее замешанным. Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданелов по мере тревог ее все более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля понимал и разгадывал с этой стороны Дарданелова и, уж разумеется, глубоко презирал его за его «чувства»; прежде даже имел неделикатность выказывать это презрение свое пред матерью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается Дарданелов. Но после случая на железной дороге он и на этот счет изменил свое поведение: намеков себе уже более не позволял, даже самых отдаленных, а о Дарданелове при матери стал отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельною благодарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна, но зато при малейшем, самом нечаянном слове даже от постороннего какого-нибудь гостя о Дарданелове, если при этом находился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда, как роза. Коля же в эти мгновения или смотрел нахмуренно в окно, или разглядывал, не просят ли у него сапоги каши, или свирепо звал Перезвона, лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую с месяц вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах, никому ее не показывая из товарищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и наукам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвою и проч., словом, показывала все штуки, которым ее обучили, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца.

Кстати: я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул перочинным ножичком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники задразнили «мочалкой».

Итак, в то морозное и сиверкое[41] ноябрьское утро мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже одиннадцать часов, а ему непременно надо было идти со двора «по одному весьма важному делу», а между тем он во всем доме оставался один и решительно как хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие обитатели, по некоторому экстренному и оригинальному обстоятельству, отлучились со двора. В доме вдовы Красоткиной, чрез сени от квартиры, которую занимала она сама, отдавалась еще

---

39 То есть в учебнике древней истории, автором которого был С. Н. Смарагдов.

40 *Образ* – икона, изображающая Иисуса Христа, Богородицу или какого-либо святого.

41 *Си́верко* (от «сивер» – «север») – холодно; резкий, холодный ветер; сырая, пронзительная погода.

одна и единственная в доме квартирка из двух маленьких комнат внаймы, и занимала ее докторша с двумя малолетними детьми. Эта докторша была одних лет с Анною Федоровной и большая ее приятельница, сам же доктор вот уже с год заехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как от него не было ни слуху ни духу, так что если бы не дружба с г-жою Красоткиной, несколько смягчавшая горе оставленной докторши, то она решительно бы истекла от этого горя слезами. И вот… обе дамы были в отлучке, служанка же самой г-жи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базар, и Коля очутился таким образом на время хранителем и караульщиком «пузырей», то есть мальчика и девочки докторши, оставшихся одинешенькими. Караулить дом Коля не боялся, с ним к тому же был Перезвон, которому повелено было лежать ничком в передней под лавкой «без движений» и который именно поэтому каждый раз, как входил в переднюю расхаживавший по комнатам Коля, вздрагивал головой и давал два твердые и заискивающие удара хвостом по полу, но увы, призывного свиста не раздавалось. Коля грозно взглядывал на несчастного пса, и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но если что смущало Колю, то единственно «пузыри». Настя, старшая девочка, восьми уже лет, умела читать, а младший «пузырь», семилетний мальчик Костя, очень любил слушать, когда Настя ему читает. Разумеется, Красоткин мог бы их занять интереснее, то есть поставить обоих рядом и начать с ними играть в солдаты или прятаться по всему дому. Это он не раз делал прежде и не брезгал делать, так что даже в классе у них разнеслось было раз, что Красоткин у себя дома играет с маленькими жильцами своими в лошадки, прыгает за пристяжную и гнет голову, но Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с тринадцатилетними, действительно было бы позорно играть «в наш век» в лошадки, но что он делает это для «пузырей», потому что их любит, а в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета. Зато и обожали же его оба «пузыря». Но на сей раз было не до игрушек. Ему предстояло одно очень важное собственное дело, и на вид какое-то почти даже таинственное, между тем время уходило, а Агафья, на которую можно бы было оставить детей, все еще не хотела возвратиться с базара. Он несколько раз уже переходил чрез сени, отворял дверь к докторше и озабоченно оглядывал «пузырей», которые, по его приказанию, сидели за книжкой, и каждый раз, как он отворял дверь, молча улыбались ему во весь рот, ожидая, что вот он войдет и сделает что-нибудь прекрасное и забавное. Но Коля был в душевной тревоге и не входил. Наконец пробило одиннадцать, и он твердо и окончательно решил, что если чрез десять минут «проклятая» Агафья не воротится, то он уйдет со двора, ее не дождавшись, разумеется взяв с «пузырей» слово, что они без него не струсят, не нашалят и не будут от страха плакать. В этих мыслях он оделся в свое ватное зимнее пальтишко с меховым воротником из какого-то котика, навесил через плечо свою сумку и, несмотря на прежние неоднократные мольбы матери, чтоб он по «такому холоду», выходя со двора, всегда надевал калошки, только с презрением посмотрел на них, проходя чрез переднюю, и вышел в одних сапогах. Перезвон, завидя его одетым, начал было усиленно стучать хвостом по полу, нервно подергиваясь всем телом, и даже испустил было жалобный вой, но Коля, при виде такой страстной стремительности своего пса, заключил, что это вредит дисциплине, и хоть минуту, а выдержал его еще под лавкой и, уже отворив только дверь в сени, вдруг свистнул его. Пес вскочил как сумасшедший и бросился скакать пред ним от восторга. Перейдя сени, Коля отворил дверь к «пузырям». Оба по-прежнему сидели за столиком, но уже не читали, а жарко о чем-то спорили. Эти детки часто друг с другом спорили о разных вызывающих житейских предметах, причем Настя, как старшая, всегда одерживала верх; Костя же если не соглашался с нею, то всегда почти шел апеллировать к Коле Красоткину, и уж как тот решал, так оно и оставалось в виде абсолютного приговора для всех сторон.

– «Пузыри», я в затруднении, – начал важно Красоткин, – и вы должны мне помочь: Агафья, конечно, ногу сломала, потому что до сих пор не является, это решено и подписано, мне же необходимо со двора. Отпустите вы меня али нет?

Дети озабоченно переглянулись друг с другом, осклабившиеся[42] лица их стали выражать беспокойство. Они, впрочем, еще не понимали вполне, чего от них добиваются.

---

[42] *Оскла́биться* – улыбаться, усмехаться, ухмыляться.

– Шалить без меня не будете? Не полезете на шкап, не сломаете ног? Не заплачете от страха одни?

На лицах детей выразилась страшная тоска.

– А я бы вам за то мог вещицу одну показать, пушечку медную, из которой можно стрелять настоящим порохом.

Лица деток мгновенно прояснились.

– Покажите пушечку, – весь просиявший, проговорил Костя.

Красоткин запустил руку в свою сумку и, вынув из нее маленькую бронзовую пушечку, поставил ее на стол.

– То-то покажите! Смотри, на колесках, – прокатил он игрушку по столу, – и стрелять можно. Дробью зарядить и стрелять.

– И убьет?

– Всех убьет, только стоит навести, – и Красоткин растолковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал на дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат. Дети слушали со страшным любопытством. Особенно поразило их воображение, что бывает откат.

– А у вас есть порох? – осведомилась Настя.

– Есть.

– Покажите и порох, – протянула она с просящею улыбкой.

Красоткин опять слазил в сумку и вынул из нее маленький пузырек, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха, а в свернутой бумажке оказалось несколько крупинок дроби. Он даже откупорил пузырек и высыпал немножко пороху на ладонь.

– Вот, только не было бы где огня, а то так и взорвет и нас всех перебьет, – предупредил для эффекта Красоткин.

Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще усилившим наслаждение. Но Косте больше понравилась дробь.

– А дробь не горит? – осведомился он.

– Дробь не горит.

– Подарите мне немножко дроби, – проговорил он умоляющим голоском.

– Дроби немножко подарю, вот, бери, только маме своей до меня не показывай, пока я не приду обратно, а то подумает, что это порох, и так и умрет от страха, а вас выпорет.

– Мама нас никогда не сечет розгой, – тотчас же заметила Настя.

– Знаю, я только для красоты слога сказал. И маму вы никогда не обманывайте, но на этот раз – пока я приду. Итак, «пузыри», можно мне идти или нет? Не заплачете без меня от страха?

– За-пла-а-чем, – протянул Костя, уже приготовляясь плакать.

– Заплачем, непременно заплачем! – подхватила пугливою скороговоркой и Настя.

– Ох дети, дети, как опасны ваши лета. Нечего делать, птенцы, придется с вами просидеть не знаю сколько. А время-то, время-то, ух!

– А прикажите Перезвону мертвым притвориться, – попросил Костя.

– Да уж нечего делать, придется прибегнуть и к Перезвону. Иси, Перезвон! – И Коля начал повелевать собаке, а та представлять все, что знала. Это была лохматая собака, величиной с обыкновенную дворняжку, какой-то серо-лиловой шерсти. Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая. Во время этой последней штуки отворилась дверь, и Агафья, толстая служанка г-жи Красоткиной, рябая баба лет сорока, показалась на пороге, возвратясь с базара с кульком накупленной провизии в руке. Она стала и, держа в левой руке на отвесе кулек, принялась глядеть на собаку. Коля, как ни ждал Агафьи, представления не прервал и, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг.

– Вишь, пес! – проговорила назидательно Агафья.

– А ты чего, женский пол, опоздал? – спросил грустно Красоткин.

– Женский пол, ишь пупырь!

– Пупырь?

– И пупырь. Что тебе, что я опоздала, значит, надо, коли опоздала, – бормотала Агафья, принимаясь возиться около печки, но совсем не недовольным и не сердитым голосом, а напротив, очень довольным, как будто радуясь случаю позубоскалить с веселым барчонком.

– Слушай, легкомысленная старуха, – начал, вставая с дивана, Красоткин, – можешь ты мне поклясться всем, что есть святого в этом мире, и сверх того чем-нибудь еще, что будешь наблюдать за «пузырями» в мое отсутствие неустанно? Я ухожу со двора.

– А зачем я тебе клястись стану? – засмеялась Агафья, – и так присмотрю.

– Нет, не иначе как поклявшись вечным спасением души твоей. Иначе не уйду.

– И не уходи. Мне како дело, на дворе мороз, сиди дома.

– «Пузыри», – обратился Коля к деткам, – эта женщина останется с вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, потому что и той давно бы воротиться надо. Сверх того, даст вам позавтракать. Дашь чего-нибудь им, Агафья?

– Это возможно.

– До свидания, птенцы, ухожу со спокойным сердцем…

Выйдя за ворота, он огляделся, передернул плечиками и, проговорив: «Мороз!», направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более минуты, из калитки вдруг выскочил к нему румяненький мальчик, лет одиннадцати, тоже одетый в теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе (тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше), сын зажиточного чиновника и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным как с известнейшим отчаянным шалуном, так что Смуров, очевидно, выскочил теперь украдкой. Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы мальчиков, которые два месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу и который рассказывал тогда про Илюшу Карамазову.

– Я вас уже целый час жду, Красоткин, – с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади.

– Запоздал, – ответил Красоткин. – Есть обстоятельства. Тебя не выпорют, что ты со мной?

– Ну полноте, разве меня порют? И Перезвон с вами?

– И Перезвон!

– Вы и его туда?

– И его туда.

– Ах, кабы Жучка!

– Нельзя Жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности.

– Ах, нельзя ли бы так, – приостановился вдруг Смуров, – ведь Илюша говорит, что Жучка тоже была лохматая и тоже такая же седая, дымчатая, как и Перезвон, – нельзя ли сказать, что это та самая Жучка и есть, он, может быть, и поверит?

– Школьник, гнушайся лжи, это раз; даже для доброго дела, два. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем приходе.

– Боже сохрани, я ведь понимаю же. Но Перезвоном его не утешишь, – вздохнул Смуров. – Знаешь что: отец этот, капитан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня щеночка ему принесет, настоящего меделянского, с черным носом; он думает, что этим утешит Илюшу, только вряд ли.

– А каков он сам, Илюша-то?

– Ах, плох, плох! Я думаю, у него чахотка. Он весь в памяти, только так дышит-дышит, нехорошо он дышит. Намедни попросил, чтоб его поводили, обули его в сапожки, пошел было, да и валится. «Ах, говорит, я говорил тебе, папа, что у меня дурные сапожки, прежние, в них и прежде было неловко ходить». Это он думал, что он от сапожек с ног валится, а он просто от слабости. Недели не проживет. Герценштубе ездит. Теперь они опять богаты, у них много денег.

– Шельмы.

– Кто шельмы?

– Доктора, и вся медицинская сволочь, говоря вообще, и, уж разумеется, в частности. Я отрицаю медицину. Бесполезное учреждение. Я, впрочем, все это исследую. Что это у вас там за сентиментальности, однако, завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете?

– Не всем, а так человек десять наших ходит туда, всегда, всякий день. Это ничего.

– Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова: брата его завтра или послезавтра судят, а у него столько времени на сентиментальничанье с мальчиками!

– Совсем тут никакого нет сентиментальничанья. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться.

– Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки.

– А как Илюша будет тебе рад! Он и не воображает, что ты придешь. Почему, почему ты так долго не хотел идти? – воскликнул вдруг с жаром Смуров.

– Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля, а вас всех притащил туда Алексей Карамазов, значит, разница. И почем ты знаешь, я, может, вовсе не мириться иду? Глупое выражение.

– Вовсе не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить, конечно, сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно нам рад. Ты знаешь, он просто с ума сойдет, коль умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал, ничего больше не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он благородный человек, и тогда вышла ошибка…

– А все-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. Притом я составил о нем некоторое мнение, которое надо еще проверить и разъяснить.

Коля важно примолк, Смуров тоже. Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идет «сам по себе», и была тут, стало быть, непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам.

– Я люблю наблюдать реализм, Смуров, – заговорил вдруг Коля. – Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы.

– Да, какой-то смешной.

– То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собой людей… Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако.

– Да. Двенадцать градусов. Давеча отец смотрел на термометре.

– И заметил ты, Смуров, что в средине зимы, если градусов пятнадцать или даже восемнадцать, то кажется не так холодно, как, например, теперь, в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь, в двенадцать градусов, да еще когда снегу мало. Это значит, люди еще не привыкли. У людей все привычка, даже в государственных и в политических отношениях. Привычка – главный двигатель. Какой смешной, однако, мужик.

Коля указал на рослого мужика в тулупе, с добродушною физиономией, который у своего воза похлопывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндевела от мороза.

– У мужика борода замерзла! – громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него.

– У многих замерзла, – спокойно и сентенциозно[43] промолвил в ответ мужик.

– Не задирай его, – заметил Смуров.

– Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей.

– Прощай.

– А ты разве Матвей?

– Матвей. А ты не знал?

– Не знал; я наугад сказал.

– Ишь ведь. В школьниках небось?

– В школьниках.

– Что ж тебя, порют?

– Не то чтобы, а так.

– Больно?

– Не без того!

– Эх, жисть! – вздохнул мужик от всего сердца.

– Прощай, Матвей.

– Прощай. Парнишка ты милый, вот что.

Мальчики пошли дальше.

– Это хороший мужик, – заговорил Коля Смурову. – Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость.

– Зачем ты ему соврал, что у нас секут? – спросил Смуров.

– Надо же было его утешить?

– Чем это?

– Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя. По идее мужика, школьника порют и должны пороть: что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить.

– Только не задирай, пожалуйста, а то опять выйдет история, как тогда с этим гусем.

– А ты боишься?

– Не смейся, Коля, ей-богу боюсь. Отец ужасно рассердится. Мне строго запрещено ходить с тобой.

– Не беспокойся, нынешний раз ничего не произойдет. Здравствуй, Наташа, – крикнул он одной из торговок под навесом.

– Какая я тебе Наташа, я Марья, – крикливо ответила торговка, далеко еще не старая женщина.

– Это хорошо, что Марья, прощай.

– Ах ты постреленок, от земли не видать, а туда же!

– Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье расскажешь, – замахал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней.

– А что мне тебе рассказывать в воскресенье? Сам привязался, а не я к тебе, озорник, – раскричалась Марья, – выпороть тебя, вот что, обидчик ты известный, вот что!

Между другими торговками, торговавшими на своих лотках рядом с Марьей, раздался смех, как вдруг из-под аркады городских лавок выскочил ни с того ни с сего один раздраженный человек вроде купеческого приказчика, и не наш торговец, а из приезжих, в длиннополом синем кафтане, в фуражке с козырьком, еще молодой, в темно-русых кудрях и с длинным, бледным, рябоватым лицом. Он был в каком-то глупом волнении и тотчас принялся грозить Коле кулаком.

– Я тебя знаю, – восклицал он раздраженно, – я тебя знаю!

Коля пристально поглядел на него. Он что-то не мог припомнить, когда он с этим человеком мог иметь какую-нибудь схватку. Но мало ли у него было схваток на улицах, всех и припомнить было нельзя.

– Знаешь? – иронически спросил он его.

---

[43] Рассудительно.

– Я тебя знаю! Я тебя знаю! – наладил как дурак мещанин.

– Тебе же лучше. Ну некогда мне, прощай!

– Чего озорничаешь? – закричал мещанин. – Ты опять озорничать? Я тебя знаю! Ты опять озорничать?

– Это, брат, не твое теперь дело, что я озорничаю, – произнес Коля, остановясь и продолжая его разглядывать.

– Как не мое?

– Так, не твое.

– А чье же? Чье же? Ну, чье же?

– Это, брат, теперь Трифона Никитича дело, а не твое.

– Какого такого Трифона Никитича? – с дурацким удивлением, хотя все так же горячась, уставился на Колю парень. Коля обмерил его взглядом.

– К Вознесенью ходил? – строго и настойчиво вдруг спросил он его.

– К какому Вознесенью? Зачем? Нет, не ходил, – опешил немного парень.

– Сабанеева знаешь? – еще настойчивее и еще строже продолжал Коля.

– Какого те Сабанеева? Нет, не знаю.

– Ну и черт с тобой после этого! – отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал своею дорогой, как будто и говорить презирая с таким олухом, который Сабанеева даже не знает.

– Стой ты, эй! Какого те Сабанеева? – опомнился парень, весь опять заволновавшись. – Это он чего такого говорил? – повернулся он вдруг к торговкам, глупо смотря на них.

Бабы рассмеялись.

– Мудреный мальчишка, – проговорила одна.

– Какого, какого это он Сабанеева? – все неистово повторял парень, махая правою рукой.

– А это, надоть быть, Сабанеева, который у Кузьмичевых служил, вот как, надоть быть, – догадалась вдруг одна баба.

Парень дико на нее уставился.

– Кузь-ми-чева? – переговорила другая баба, – да какой он Трифон? Тот Кузьма, а не Трифон, а парнишка Трифоном Никитичем называл, стало, не он.

– Это, вишь, не Трифон и не Сабанеев, это Чижов, – подхватила вдруг третья баба, доселе молчавшая и серьезно слушавшая, – Алексей Иванычем звать его. Чижов, Алексей Иванович.

– Это так и есть, что Чижов, – настойчиво подтвердила четвертая баба.

Ошеломленный парень глядел то на ту, то на другую.

– Да зачем он спрашивал, спрашивал-то он зачем, люди добрые! – восклицал он уже почти в отчаянии, – «Сабанеева знаешь?» А черт его знает, какой он есть таков Сабанеев?

– Бестолковый ты человек, говорят те – не Сабанеев, а Чижов, Алексей Иванович Чижов, вот кто! – внушительно крикнула ему одна торговка.

– Какой Чижов? Ну, какой? Говори, коли знаешь.

– А длинный, возгривый[44], летось[45] на базаре сидел.

– А на кой ляд мне твово Чижова, люди добрые, а?

– А я почем знаю, на кой те ляд Чижова.

– А кто тебя знает, на что он тебе, – подхватила другая, – сам должен знать, на что его тебе надо, коли галдишь. Ведь он тебе говорил, а не нам, глупый ты человек. Аль вправду не знаешь?

– Кого?

– Чижова.

– А черт его дери, Чижова, с тобой вместе! Отколочу его, вот что! Смеялся он надо мной!

– Чижова-то отколотишь? Либо он тебя! Дурак ты, вот что!

– Не Чижова, не Чижова, баба ты злая, вредная, мальчишку отколочу, вот что! Давайте

---

44 *Возгри́вый* – не утирающий носа, сопливый.

45 *Ле́тось* – в прошлое лето, в прошлом году, раньше.

его, давайте его сюда, смеялся он надо мной!

Бабы хохотали. А Коля шагал уже далеко с победоносным выражением в лице. Смуров шел подле, оглядываясь на кричащую вдали группу. Ему тоже было очень весело, хотя он все еще опасался, как бы не попасть с Колей в историю.

– Про какого ты его спросил Сабанеева? – спросил он Колю, предчувствуя ответ.

– А почем я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества. Вот и еще стоит олух, вот этот мужик. Заметь себе, говорят: «Ничего нет глупее глупого француза», но и русская физиономия выдает себя. Ну не написано ль у того на лице, что он дурак, вот у этого мужика, а?

– Оставь его, Коля, пройдем мимо.

– Ни за что не оставлю, я теперь поехал. Эй! здравствуй, мужик!

Дюжий мужик, медленно проходивший мимо и уже, должно быть, выпивший, с круглым простоватым лицом и с бородой с проседью, поднял голову и посмотрел на парнишку.

– Ну, здравствуй, коли не шутишь, – неторопливо проговорил он в ответ.

– А коль шучу? – засмеялся Коля.

– А шутишь, так и шути, бог с тобой. Ничего, это можно. Это всегда возможно, чтоб пошутить.

– Виноват, брат, пошутил.

– Ну и Бог те прости.

– Ты-то прощаешь ли?

– Оченно прощаю. Ступай.

– Вишь ведь ты, да ты, пожалуй, мужик умный.

– Умней тебя, – неожиданно и по-прежнему важно ответил мужик.

– Вряд ли, – опешил несколько Коля.

– Верно говорю.

– А пожалуй, что и так.

– То-то, брат.

– Прощай, мужик.

– Прощай.

– Мужики бывают разные, – заметил Коля Смурову после некоторого молчания. – Почем же я знал, что нарвусь на умника. Я всегда готов признать ум в народе.

Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. Мальчики заспешили и остальной довольно еще длинный путь до жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и почти уже не разговаривая. За двадцать шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова.

– Надо предварительно обнюхаться, – заметил он Смурову.

– Да зачем вызывать, – возразил было Смуров, – войди и так, тебе ужасно обрадуются. А то что же на морозе знакомиться?

– Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда на мороз, – деспотически отрезал Коля (что ужасно любил делать с этими «маленькими»), и Смуров побежал исполнять приказание.

4. Жучка

Коля с важною миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алеши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих пор всегда наружно выказывая презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили, даже «критиковал» Алешу, выслушивал то, что о нем ему передавали. Но про себя очень, очень хотел познакомиться: что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алеше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная; во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость: «А то подумает, что мне тринадцать лет, и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдусь. Скверно, однако же, то, что я такого маленького роста. Тузиков моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное; я не хорош, я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями, он и подумает…

Тьфу, какая будет мерзость, если подумает!..»

Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост, не столько «мерзкое» лицо, сколько рост. У него дома, в углу на стене, еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которою он отметил свой рост, и с тех пор каждые два месяца он с волнением подходил опять мериться: на сколько успел вырасти? Но увы! вырастал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе не «мерзкое», напротив, довольно миловидное, беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глазки смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широки, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные; нос маленький и решительно вздернутый: «Совсем курносый, совсем курносый!» – бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало, и всегда отходил от зеркала с негодованием. «Да вряд ли и лицо умное?» – подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как ни язвительны были минуты пред зеркалом, но он быстро забывал о них, и даже надолго, «весь отдаваясь идеям и действительной жизни», как определял он сам свою деятельность.

Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле; за несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем радостное лицо. «Неужели так рад мне?» – с удовольствием подумал Коля. Здесь кстати заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили: он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скрасило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку.

– Вот и вы наконец, как мы вас все ждали.

– Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае, рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал, – пробормотал, немного задыхаясь, Коля.

– Да мы с вами и без того бы познакомились, я сам о вас много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали.

– Скажите, как здесь?

– Илюша очень плох, он непременно умрет.

– Что вы! Согласитесь, что медицина подлость, Карамазов, – с жаром воскликнул Коля.

– Илюша часто, очень часто поминал об вас, даже, знаете, во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде… до того случая… с ножиком. Тут есть и еще причина… Скажите, это ваша собака?

– Моя. Перезвон.

– А не Жучка? – жалостно поглядел Алеша в глаза Коле. – Та уже так и пропала?

– Знаю, что вам хотелось бы всем Жучку, слышал всё-с, – загадочно усмехнулся Коля. – Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело, я, главное, с тем и пришел, для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем, – оживленно начал он. – Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно, наш приготовительный класс: мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать. Я двумя классами выше и, разумеется, смотрю издали, со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю этаких. А они его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это. Унижают. Нет, это уж я не люблю, тотчас заступился и экстрафеферу задал. Я ведь их бью, а они меня обожают, вы знаете ли это, Карамазов? – экспансивно похвастался Коля. – Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом, Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию[46]. Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый, но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним

[46] *Протéкция* – опека, помощь, защита.

ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя фантазия, и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю – почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами; значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным? И признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу: примечаю, что в мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей, с самого моего рождения. И к тому же противоречия: горд, а мне предан рабски – предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи: он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот, чтобы его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково мое убеждение. Я имел в виду вышколить характер, выровнять, создать человека… ну и там… вы, разумеется, меня с полслова понимаете. Вдруг замечаю, он день, другой, третий смущен, скорбит, но уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Наступаю на него и узнаю штуку: каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего (который тогда еще был в живых) Смердяковым, а тот и научи его, дурачка, глупой шутке, то есть зверской шутке, подлой шутке – взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок, не жуя, глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой Жучке, о которой теперь такая история, одной дворовой собаке из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лает. (Любите вы этот глупый лай, Карамазов? Я терпеть не могу.) Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать, бежит и все визжит, и исчезла – так мне описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет-плачет, обнимает меня, сотрясается: «Бежит и визжит, бежит и визжит» – только это и повторяет, поразила его эта картина. Ну, вижу, угрызения совести. Я принял серьезно. Мне, главное, и за прежнее хотелось его прошколить, так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе: «Ты, говорю, сделал низкий поступок, ты подлец, я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою сношения. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смурова (вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан): буду ли продолжать с тобою впредь отношения, или брошу тебя навеки как подлеца». Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся, но что делать, такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Смурова и чрез него передаю, что я с ним больше «не говорю», то есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собой сношения. Тайна в том, что я хотел его выдержать на фербанте[47] всего только несколько дней, а там, видя раскаяние, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Но что же вы думаете: выслушал от Смурова, и вдруг у него засверкали глаза. «Передай, – закричал он, – от меня Красоткину, что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать, всем, всем!» – «А, думаю, вольный душок завелся, его надо выкурить», – и стал ему выказывать полное презрение, при всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь.

И вдруг тут происходит этот случай с его отцом, помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят: «Мочалка, мочалка!» Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в десяти шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтоб я тогда смеялся, напротив, мне тогда очень, очень стало жалко его, и еще миг, и я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд: что ему показалось – не знаю, но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро, вот тут, у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь,

---

47 *Фербáнт* – ссылка, изгнание; здесь: в смысле «в одиночестве» *(нем.)*.

иногда бываю храбр, Карамазов, я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом: «Не хочешь ли, мол, еще, за всю мою дружбу, так я к твоим услугам». Но он другой раз не пырнул, он не выдержал, он сам испугался, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства, даже матери сказал, только когда все зажило, да и ранка была пустая, царапина. Потом слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил – но понимаете, в каком он был состоянии! Ну что делать, я сделал глупо: когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться, теперь раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну вот и вся история… только, кажется, я сделал глупо…

– Ах, как это жаль, – воскликнул с волнением Алеша, – что я не знал ваших этих с ним отношений раньше, а то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни, он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги! И неужели, неужели вы так и не отыскали эту Жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он, больной, в слезах, три раза при мне уж повторял отцу: «Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил, это меня Бог наказал», – не собьешь его с этой мысли! И если бы только достали теперь эту Жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись.

– Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу Жучку, то есть что именно я отыщу? – с чрезвычайным любопытством спросил Коля, – почему именно на меня рассчитывали, а не на другого?

– Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете и что когда отыщете ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, все стараемся уверить, что Жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился и ему щенка меделянского принес, тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще, кажется, вышло…

– Еще скажите, Карамазов: что такое этот отец? Я его знаю, но что он такое по вашему определению: шут, паяц?

– Ах нет, есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутовство у них вроде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унизительной робости пред ними. Поверьте, Красоткин, что такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него все теперь, все на земле совокупилось в Илюше, и умри Илюша, он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти убежден в этом, когда теперь на него смотрю!

– Я вас понимаю, Карамазов, я вижу, вы знаете человека, – прибавил проникновенно Коля.

– А я, как увидал вас с собакой, так и подумал, что вы это привели ту самую Жучку.

– Подождите, Карамазов, может быть, мы ее и отыщем, а эта – это Перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и, может быть, развеселю Илюшу побольше, чем меделянским щенком. Подождите, Карамазов, вы кой-что сейчас узнаете. Ах, боже мой, что ж я вас держу! – вскричал вдруг стремительно Коля. – Вы в одном сюртучке на таком холоде, а я вас задерживаю: видите, видите, какой я эгоист! О, все мы эгоисты, Карамазов!

– Не беспокойтесь, правда, холодно, но я не простудлив. Пойдемте, однако же. Кстати: как ваше имя, я знаю, что Коля, а дальше?

– Николай, Николай Иванов Красоткин, или, как говорят по-казенному: сын Красоткин, – чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил: – Я, разумеется, ненавижу мое имя Николай.

– Почему же?

– Тривиально, казенно…

– Вам тринадцатый год? – спросил Алеша.

– То есть четырнадцатый, через две недели четырнадцать, весьма скоро. Признаюсь пред вами заранее в одной слабости, Карамазов, это уж так пред вами, для первого знакомства, чтобы вы сразу увидели всю мою натуру: я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу… и наконец… про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл, это действительность, но что я для

себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а для детворы играл, потому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас всегда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас.

– А хоть бы и для своего удовольствия играли, что ж тут такого?

– Ну для себя… Не станете же вы в лошадки играть?

– А вы рассуждайте так, – улыбнулся Алеша, – в театр, например, ездят же взрослые, а в театре тоже представляют приключения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с войной – так разве это не то же самое, в своем, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей, в рекреационное время[48], или там в разбойники – это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры. Но это только естественно.

– Вы так думаете? Таково ваше убеждение? – пристально смотрел на него Коля. – Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали: я теперь приду домой и шевельну мозгами на этот счет. Признаюсь, я так и ждал, что от вас можно кой-чему поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов, – проникновенным и экспансивным голосом заключил Коля.

– А я у вас, – улыбнулся Алеша, пожав ему руку.

Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на ровной ноге и что тот говорит с ним как с «самым большим».

– Я вам сейчас один фортель[49] покажу, Карамазов, тоже одно театральное представление, – нервно засмеялся он, – я с тем и пришел.

– Зайдем сначала налево к хозяевам, там все ваши свои пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко.

– О, ведь я на мгновение, я войду и просижу в пальто. Перезвон останется здесь в сенях и умрет: «Иси, Перезвон, куш и умри!» – видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку и потом, когда надо будет, свистну: «Иси, Перезвон!» – и вы увидите, он тотчас же влетит как угорелый. Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь. Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель…

5. У Илюшиной постельки

В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Все искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей, одного за другим, без «телячьих нежностей», а совсем как бы не нарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горьчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров (первый пришедший помириться с Илюшей). Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прийти «по одному делу», тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить Карамазову, что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит и что, если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него «свой расчет». Это было еще недели за две до этого

---

48 *Рекреацио́нное время* – время отдыха.

49 *Фо́ртель* – фокус, трюк.

воскресенья. Вот почему Алеша не пошел к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но, однако же, послал Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алеше, что если тот придет за ним сам, то он за это никогда не пойдет к Илюше, и чтоб ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро, и только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтоб он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым, но чтобы не смел, однако же, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую Жучку, явилась у Смурова на основании раз брошенных мельком слов Красоткиным, что «ослы они все, коли не могут отыскать собаку, если только она жива». Когда же Смуров робко, выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился: «Что я за осел, чтоб искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой Перезвон? И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива? Телячьи нежности, больше ничего!»

Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил с своей постельки, в углу, у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, особенно после того, как проведет, бывало, его по комнате под руку и уложит опять в постельку, – вдруг выбегал в сени, в темный угол и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыданий его не было слышно у Илюшечки.

Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда, неотвязно, вспоминал о «мочалке» и о том «страшном дне». Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался (что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы), зато полоумная маменька очень забавлялась и от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет, бывало, что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты. Этим только ее и можно было утешить, во все же остальное время она беспрерывно брюзжала и плакалась, что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее обижают и проч. и проч. Но в самые последние дни и она вдруг как бы вся переменилась. Она часто начала смотреть в уголок на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливее, притихла, и если принималась плакать, то тихо, чтобы не слыхали. Штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней перемену. Посещения мальчиков ей сначала не понравились и только сердили ее, но потом веселые крики и рассказы детей стали развлекать и ее и до того под конец ей понравились, что, перестань ходить эти мальчики, она бы затосковала ужасно. Когда дети что рассказывали или начинали играть, она смеялась и хлопала в ладошки. Иных подзывала к себе и целовала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-капитана, то появление в его квартире детей, приходивших веселить Илюшу, наполнило душу его с самого начала восторженною радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь тосковать и, может быть, оттого скорее выздоровеет. Он ни одной минуты, до самого последнего времени, не сомневался, несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал, готов был их на себе возить, и даже впрямь начал было возить, но Илюше эти игры не понравились и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев, пряничков, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во все это время деньги у него не переводились. Тогдашние двести рублей от Катерины Ивановны он принял точь-в-точь по предсказанию Алеши. А потом Катерина Ивановна, разузнав подробнее об их обстоятельствах и о болезни Илюши, сама

посетила их квартиру, познакомилась со всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс-капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капитан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подаяние. Все это время доктор Герценштубе, по приглашению Катерины Ивановны, ездил постоянно и аккуратно через день к больному, но толку от его посещений выходило мало, а пичкал он его лекарствами ужасно. Но зато в этот день, то есть в это воскресенье утром, у штабс-капитана ждали одного нового доктора, приезжего из Москвы и считавшегося в Москве знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Катерина Ивановна за большие деньги – не для Илюшечки… но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить и Илюшечку, о чем штабс-капитан был заранее предуведомлен. О прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел наконец этот мальчик, по котором так мучился его Илюшечка. В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все, штабс-капитан и мальчики, столпились около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку, все тосковавшего об исчезнувшей и, конечно, уже погибшей Жучке. Но Илюша, уже слышавший и знавший еще за три дня, что ему подарят маленькую собачку, и не простую, а настоящую меделянскую (что, конечно, было ужасно важно), хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все, и отец и мальчики, ясно увидели, что новая собачка, может быть, только еще сильнее шевельнула в его сердечке воспоминание о несчастной, им замученной Жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своею тоненькою, бледненькою, высохшею ручкой; даже видно было, что собачка ему понравилась, но… Жучки все же не было, все же это не Жучка, а вот если бы Жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное счастие!

– Красоткин! – крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение, мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился навстречу Коле.

– Пожалуйте, пожалуйте… дорогой гость! – залепетал он ему. – Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал…

Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана (которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку) и чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление.

– Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека, – громко произнесла она, разводя руками, – а то что прочие-то наши гости: один на другом приезжают.

– Как же, мамочка, один-то на другом, как это так? – хоть и ласково, но опасаясь немного за «мамочку», пролепетал штабс-капитан.

– А так и въезжают. Сядет в сенях один другому верхом на плечи, да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость?

– Да кто же, кто же, мамочка, так въезжал, кто же?

– Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том…

Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной видимо побледнел. Он приподнялся на кроватке и пристально-пристально посмотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два и вдруг остановился пред ним совсем пораженный: он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит и что у него так ссохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил:

– Ну что, старик… как поживаешь?

Но голос его пресекся, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось, и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать

слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своею ладонью по волосам Илюши.

– Ни-че-го! – пролепетал он ему тихо, не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минуту опять помолчали.

– Что это у тебя, новый щенок? – вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля.

– Да-а-а! – ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь.

– Черный нос, значит, из злых, из цепных, – важно и твердо заметил Коля, как будто все дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать как «маленький», и все еще не мог побороть. – Подрастет, придется посадить на цепь, уж я знаю.

– Он огромный будет! – воскликнул один мальчик из толпы.

– Известно, меделянский, огромный, вот этакий, с теленка, – раздалось вдруг несколько голосков.

– С теленка, с настоящего теленка-с, – подскочил штабс-капитан, – я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего, и родители его тоже огромные и самые злющие, вот этакие от полу ростом… Присядьте-с, вот здесь на кроватке у Илюши, а не то здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость долгожданный… С Алексеем Федоровичем изволили прибыть-с?

Красоткин присел на постельке, в ногах у Илюши. Он хоть, может быть, и приготовил дорогой, с чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку.

– Нет… я с Перезвоном… У меня такая собака теперь, Перезвон. Славянское имя. Там ждет… свистну, и влетит. Я тоже с собакой, – оборотился он вдруг к Илюше, – помнишь, старик, Жучку? – вдруг огрел он его вопросом.

Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про Жучку, но тот не заметил или не захотел заметить.

– Где же… Жучка? – надорванным голоском спросил Илюша.

– Ну, брат, твоя Жучка – фью! Пропала твоя Жучка!

Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил.

– Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски, – безжалостно резал Коля, а между тем сам как будто стал от чего-то задыхаться. – У меня зато Перезвон… Славянское имя… Я к тебе привел…

– Не надо! – проговорил вдруг Илюшечка.

– Нет, нет, надо, непременно посмотри… Ты развлечешься. Я нарочно привел… такая же лохматая, как и та… Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку? – обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении.

– Не надо, не надо! – с горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.

– Вы бы-с… – рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел, – вы бы-с… в другое время-с… – пролепетал он, но Коля, неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смурову: «Смуров, отвори дверь!» – и только что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату.

– Прыгай, Перезвон, служи! Служи! – завопил Коля, вскочив с места, и собака, став на задние лапы, вытянулась прямо перед постелькой Илюши. Произошло нечто никем не ожиданное: Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулся весь вперед, нагнулся к Перезвону и, как бы замирая, смотрел на него.

– Это… Жучка! – прокричал он вдруг надтреснутым от страдания и счастия голоском.

– А ты думал кто? – звонким, счастливым голосом изо всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше.

– Гляди, старик, видишь, глаз кривой и левое ухо надрезано, точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам и разыскал! Тогда же разыскал, вскорости. Она ведь ничья была, она ведь была ничья! – пояснил он, быстро оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алеше и потом опять к Илюше, – она была у Федотовых на задворках, прижилась было там, но те ее не кормили, а она беглая, она забеглая из деревни… Я ее и разыскал…

Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж конечно бы померла, ведь уж конечно! Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола, вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту… нежнее, чем у человека, гораздо нежнее! – восклицал неистово Коля, с разгоревшимся и сияющим от восторга лицом.

Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев как полотно. И если бы только знал не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алеша.

Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.

– Жучка! Так это-то Жучка? – выкрикивал он блаженным голосом. – Илюшечка, ведь это Жучка, твоя Жучка! Маменька, ведь это Жучка! – Он чуть не плакал.

– А я-то и не догадался! – горестно воскликнул Смуров. – Ай да Красоткин, я говорил, что он найдет Жучку, вот и нашел!

– Вот и нашел! – радостно отозвался еще кто-то.

– Молодец Красоткин! – прозвенел третий голосок.

– Молодец, молодец! – закричали все мальчики и начали аплодировать.

– Да стойте, стойте, – силился всех перекричать Красоткин, – я вам расскажу, как это было, штука в том, как это было, а не в чем другом! Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал, и дом на замок, и никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал две недели назад, но я уверил его, что это Перезвон, и он не догадался, а я в антракте научил Жучку всем наукам, вы посмотрите, посмотрите только, какие он штуки знает! Для того и учил, чтоб уж привесть к тебе, старик, обученного, гладкого: вот, дескать, старик, какая твоя Жучка теперь! Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки, он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете, – говядинки, кусочек, ну неужели же у вас нет?

Штабс-капитан стремительно кинулся, через сени, в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша, крикнул Перезвону: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчики смеялись, Илюша смотрел с прежнею страдальческою своею улыбкой, но всех больше понравилось, что умер Перезвон, «маменьке». Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцем и звать:

– Перезвон, Перезвон!

– Ни за что не подымется, ни за что, – победоносно и справедливо гордясь, прокричал Коля, – хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Иси, Перезвон!

Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины.

– Не горяча? – торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок, – нет, не горяча, а то собаки не любят горячего. Смотрите же все, Илюшечка, смотри, да смотри же, смотри, старик, что же ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит!

Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящей и протянувшей свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу сколько велит хозяин, не двинуться, не шевельнуться, хоть полчаса. Но Перезвона выдержали только самую маленькую минутку.

– Пиль! – крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот Перезвона. Публика, разумеется, выразила восторженное удивление.

– И неужели, неужели вы из-за того только, чтоб обучить собаку, все время не приходили! – воскликнул с невольным укором Алеша.

– Именно для того, – прокричал простодушнейшим образом Коля. – Я хотел показать его во всем блеске!

– Перезвон! Перезвон! – защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку.

– Да чего тебе! Пусть он к тебе на постель сам вскочит. Иси, Перезвон! – стукнул

ладонью по постели Коля, и Перезвон как стрела влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо.

– Господи, Господи! – восклицал штабс-капитан.

Коля присел опять на постель к Илюше.

– Илюша, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе пушечку принес. Помнишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а ты сказал: «Ах, как бы и мне ее посмотреть!» Ну, вот я теперь и принес.

И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив: в другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный Перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку: «Уж и так счастливы, так вот вам и еще счастья!» Сам уж он был очень упоен.

– Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел – для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от брата ему досталась, я и выменял ему на книжку, из папина шкафа: «Родственник Магомета, или Целительное дурачество». Сто лет книжке, забубенная, в Москве вышла, когда еще цензуры не было, а Морозов до этих штучек охотник. Еще поблагодарил…

Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, продолжая правою рукой обнимать Перезвона, с восхищением разглядывал игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объявил, что у него есть и порох и что можно сейчас же и выстрелить, «если это только не обеспокоит дам». «Маменька» немедленно попросила, чтоб ей дали поближе посмотреть на игрушку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороху, дробь же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затравку три порошинки и зажгли спичкой. Произошел самый блистательный выстрел. «Маменька» вздрогнула было, но тотчас же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчаливым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илюшу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно подарил ее Илюше, вместе с дробью и с порохом.

– Это я для тебя, для тебя! Давно приготовил, – повторил он еще раз, в полноте счастья.

– Ах, подарите мне! Нет, подарите пушечку лучше мне! – вдруг, точно маленькая, начала просить «маменька». Лицо ее изобразило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. Коля смутился. Штабс-капитан заволновался.

– Мамочка, мамочка! – подскочил он к ней, – пушечка твоя, твоя, но пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили, но она все равно что твоя, Илюшечка всегда тебе даст поиграть, она у вас пусть будет общая, общая…

– Нет, не хочу, чтоб общая, нет, чтобы совсем моя была, а не Илюшина, – продолжала «маменька», приготовляясь уже совсем заплакать.

– Мама, возьми себе, вот возьми себе! – крикнул вдруг Илюша. – Красоткин, можно мне ее маме подарить? – обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит.

– Совершенно возможно! – тотчас же согласился Красоткин и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее с самым вежливым поклоном «маменьке». Та даже расплакалась от умиления.

– Илюшечка, милый, вот кто мамочку свою любит! – умиленно воскликнула она и немедленно опять принялась катать пушку на своих коленях.

– Маменька, дай я тебе ручку поцелую, – подскочил к ней супруг и тотчас же исполнил намерение.

– И кто еще самый милый молодой человек, так вот этот добрый мальчик! – проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина.

– А пороху я тебе, Илюша, теперь сколько угодно буду носить. Мы теперь сами порох делаем. Боровиков узнал состав: двадцать четыре части селитры, десять серы и шесть

березового угля, все вместе столочь, влить воды, смешать в мякоть и протереть через барабанную шкуру, – вот и порох.

– Мне Смуров про ваш порох уже говорил, а только папа говорит, что это не настоящий порох, – отозвался Илюша.

– Как не настоящий? – покраснел Коля, – у нас горит. Я, впрочем, не знаю…

– Нет-с, я ничего-с, – подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капитан. – Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется, но это ничего-с, можно и так-с.

– Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке зажгли, славно горел, весь сгорел, самая маленькая сажа осталась. Но ведь это только мякоть, а если протереть через шкуру… А впрочем, вы лучше знаете, я не знаю… А Булкина отец выдрал за наш порох, ты слышал? – обратился он вдруг к Илюше.

– Слышал, – ответил Илюша. Он с бесконечным интересом и наслаждением слушал Колю.

– Мы целую бутылку пороху заготовили, он под кроватью и держал. Отец увидал. Взорвать, говорит, может. Да и высек его тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускают, теперь со мной никого не пускают. Смурова тоже не пускают, у всех прославился; говорят, что я «отчаянный», – презрительно усмехнулся Коля. – Это все с железной дороги здесь началось.

– Ах, мы слышали и про этот ваш пассаж! – воскликнул штабс-капитан, – как это вы там пролежали? И неужели вы так ничего совсем и не испугались, когда лежали под поездом. Страшно вам было-с?

Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей.

– Н-не особенно! – небрежно отозвался Коля. – Репутацию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь подкузьмил, – повернулся он опять к Илюше. Но хоть он и корчил, рассказывая, небрежный вид, а все еще не мог совладать с собою и продолжал как бы сбиваться с тону.

– Ах, я и про гуся слышал! – засмеялся, весь сияя, Илюша, – мне рассказывали, да я не понял, неужто тебя у судьи судили?

– Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой целого слона по обыкновению у нас сочинили, – начал развязно Коля. – Это я раз тут по площади шел, а как раз пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным служит, смотрит на меня, да и говорит: «Ты чего на гусей глядишь?» Я смотрю на него: глупая, круглая харя, парню двадцать лет. Я, знаете, никогда не отвергаю народа. Я люблю с народом… Мы отстали от народа – это аксиома – вы, кажется, изволите смеяться, Карамазов?

– Нет, боже сохрани, я вас очень слушаю, – с самым простодушнейшим видом отозвался Алеша, и мнительный Коля мигом ободрился.

– Моя теория, Карамазов, ясна и проста, – опять радостно заспешил он тотчас же. – Я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнюдь не балуя его, это sine qua…[50] Да, ведь я про гуся. Вот обращаюсь я к этому дураку и отвечаю ему: «А вот думаю, о чем гусь думает». Глядит он на меня совершенно глупо: «А об чем, говорит, гусь думает?» – «А вот видишь, говорю, телега с овсом стоит. Из мешка овес сыплется, а гусь шею протянул под самое колесо и зерно клюет – видишь?» – «Это я оченно вижу», – говорит. «Ну так вот, говорю, если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед – перережет гусю шею колесом или нет?» – «Беспременно, говорит, перережет», а сам уж ухмыляется во весь рот, так весь и растаял. «Ну так пойдем, говорю, парень, давай». – «Давай», – говорит. И недолго нам пришлось мастерить: он этак неприметно около узды стал, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору зазевался, говорил с кем-то, так что совсем мне и не пришлось направлять: прямо гусь сам собой так и вытянул шею за овсом, под телегу, под самое колесо. Я мигнул парню, он дернул и – к-крак, так и переехало гусю шею пополам! И вот надо ж так, что в ту ж секунду все мужики увидали нас, ну и загалдели разом: «Это ты нарочно!» – «Нет, не нарочно». – «Нет, нарочно!»

---

[50] Непременное условие *(лат.)*.

Ну, галдят: «К мировому!» Захватили и меня: «И ты тут, дескать, был, ты подсоблял, тебя весь базар знает!» А меня действительно почему-то весь базар знает, – прибавил самолюбиво Коля. – Потянулись мы все к мировому, несут и гуся. Смотрю, а парень мой струсил и заревел, право, ревет, как баба. А гуртовщик кричит: «Этаким манером их, гусей, сколько угодно передавить можно!» Ну, разумеется, свидетели. Мировой миром кончил: за гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень все ревет, как баба: «Это не я, говорит, это он меня наустил», – да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся, да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся: «Я вас, – говорит мне, – сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь не пускались, вместо того чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить». Начальству-то он меня не аттестовал, это шутки, но дело действительно разнеслось и достигло ушей начальства: уши-то ведь у них длинные! Особенно поднялся классик Колбасников, да Дарданелов опять отстоял. А Колбасников зол теперь у нас на всех, как зеленый осел. Ты, Илюша, слышал, он ведь женился, взял у Михайловых приданого тысячу рублей, а невеста рыловорот первой руки и последней степени. Третьеклассники тотчас же эпиграмму сочинили:

Поразила весть третьеклассников,
Что женился неряха Колбасников.

Ну и там дальше, очень смешно, я тебе потом принесу. Я про Дарданелова ничего не говорю: человек с познаниями, с решительными познаниями. Этаких я уважаю, и вовсе не из-за того, что меня отстоял…

– Однако ж ты сбил его на том, кто основал Трою! – ввернул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту Красоткиным. Очень уж ему понравился рассказ про гуся.

– Неужто так и сбили-с? – льстиво подхватил штабс-капитан. – Это про то, кто основал Трою-с? Это мы уже слышали, что сбили-с. Илюшечка мне тогда же и рассказал-с…

– Он, папа, все знает, лучше всех у нас знает! – подхватил и Илюшечка, – он ведь только прикидывается, что он такой, а он первый у нас ученик по всем предметам…

Илюша с беспредельным счастием смотрел на Колю.

– Ну это о Трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю пустым, – с горделивою скромностью отозвался Коля. Он уже успел вполне войти в тон, хотя, впрочем, был и в некотором беспокойстве: он чувствовал, что находится в большом возбуждении и что о гусе, например, рассказал слишком уж от всего сердца, а между тем Алеша молчал все время рассказа и был серьезен, и вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало уже скрести по сердцу: «Не оттого ли, де, он молчит, что меня презирает, думая, что я его похвалы ищу? В таком случае, если он осмеливается это думать, то я…»

– Я считаю этот вопрос решительно пустым, – отрезал он еще раз горделиво.

– А я знаю, кто основал Трою, – вдруг проговорил совсем неожиданно один доселе ничего почти еще не сказавший мальчик, молчаливый и, видимо, застенчивый, очень собою хорошенький, лет одиннадцати, по фамилии Карташов. Он сидел у самых дверей. Коля с удивлением и важностию поглядел на него. Дело в том, что вопрос: «Кто именно основал Трою?» – решительно обратился во всех классах в секрет, и чтобы проникнуть его, надо было прочесть у Смарагдова. Но Смарагдова ни у кого, кроме Коли, не было. И вот раз мальчик Карташов потихоньку, когда Коля отвернулся, поскорей развернул лежащего между его книгами Смарагдова и прямо попал на то место, где говорилось об основателях Трои. Случилось это довольно уже давно, но он все как-то конфузился и не решался открыть публично, что и он знает, кто основал Трою, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузил его как-нибудь за это Коля. А теперь вдруг почему-то не утерпел и сказал. Да и давно ему хотелось.

– Ну, кто же основал? – надменно и свысока повернулся к нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает, и, разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем настроении произошел что называется диссонанс.

– Трою основали Тевкр, Дардан, Иллюс и Трос, – разом отчеканил мальчик и в один миг весь покраснел, так покраснел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, глядели целую минуту, и потом вдруг все эти глядящие в упор глаза разом повернулись к Коле. Тот с презрительным хладнокровием все еще продолжал обмеривать взглядом дерзкого мальчика.

– То есть как же это они основали? – удостоил он наконец проговорить, – да и что значит вообще основать город или государство? Что ж они: пришли и по кирпичу положили, что ли?

Раздался смех. Виноватый мальчик из розового стал пунцовым. Он молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его так еще с минутку.

– Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание национальности, надо прежде всего понимать, что это значит, – строго отчеканил он в назидание. – Я, впрочем, не придаю всем этим бабьим сказкам важности, да и вообще всемирную историю не весьма уважаю, – прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще.

– Это всемирную-то историю-с? – с каким-то вдруг испугом осведомился штабс-капитан.

– Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих, и только. Я уважаю одну математику и естественные, – сфорсил Коля и мельком глянул на Алешу: его только одного мнения он здесь и боялся. Но Алеша все молчал и был по-прежнему серьезен. Если бы сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось, но Алеша смолчал, а «молчание его могло быть презрительным», и Коля раздражился уже совсем.

– Опять эти классические теперь у нас языки: одно сумасшествие, и ничего больше… Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазов?

– Не согласен, – сдержанно улыбнулся Алеша.

– А сам первый по латинскому языку! – вдруг крикнул из толпы один мальчик.

– Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый по латинскому в классе, – отозвался и Илюша.

– Что ж такое? – счел нужным оборониться Коля, хотя ему очень приятна была и похвала. – Латынь я зубрю, потому что надо, потому что я обещался матери кончить курс, а по-моему, за что взялся, то уж делать хорошо, но в душе глубоко презираю классицизм и всю эту подлость…

– Доктор приехал! – воскликнула вдруг все время молчавшая Ниночка.

Действительно, к воротам дома подъехала принадлежавшая г-же Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову бросился к воротам встречать его. «Маменька» подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал оправлять ему подушку. Ниночка, из своих кресел, с беспокойством следила за тем, как он оправляет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некоторые из них пообещались зайти вечером. Коля крикнул Перезвона, и тот соскочил с постели.

– Я не уйду, не уйду! – проговорил впопыхах Коля Илюше, – я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор, приду с Перезвоном.

Но уже доктор входил – важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глянцевито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив: ему, верно, показалось, что он не туда зашел: «Что это? Где я?» – пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не снимая котиковой фуражки, с котиковым же козырьком, с своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на веревке белье сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся перед ним в три погибели.

– Вы здесь-с, здесь-с, – бормотал он подобострастно, – вы здесь-с, у меня-с, вам ко мне-с…

– Сне-ги-рев? – произнес важно и громко доктор. – Господин Снегирев – это вы?

– Это я-с!

– А!

Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку.

– Где же пациент? – спросил он громко и настоятельно.

6. Доктор

– Как вы думаете, что ему скажет доктор? – скороговоркой проговорил Коля, – какая отвратительная, однако же, харя, не правда ли? Терпеть не могу медицину!

– Илюша умрет. Это, мне кажется, уж наверно, – грустно ответил Алеша.

– Шельмы! Медицина шельма! Я рад, однако, что узнал вас, Карамазов. Я давно хотел вас узнать. Жаль только, что мы так грустно встретились…

Коле очень бы хотелось что-то сказать еще горячее, еще экспансивнее, но как будто что-то его коробило. Алеша это заметил, улыбнулся и пожал ему руку.

– Я давно научился уважать в вас редкое существо, – пробормотал опять Коля, сбиваясь и путаясь. – Я слышал, вы были в монастыре, но… это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит… С натурами, как вы, не бывает иначе.

– Что вы называете мистиком? От чего излечит? – удивился немного Алеша.

– Ну там Бог и прочее.

– Как, да разве вы в Бога не веруете?

– Напротив, я ничего не имею против Бога. Конечно, Бог есть только гипотеза… но… я признаю, что он нужен, для порядка… для мирового порядка и так далее… и если б его не было, то надо бы его выдумать, – прибавил Коля, начиная краснеть. Ему вдруг вообразилось, что Алеша сейчас подумает, что он хочет выставить свои познания и показать, какой он «большой». «А я вовсе не хочу выставлять пред ним мои познания», – с негодованием подумал Коля. И ему вдруг стало ужасно досадно.

– Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания, – отрезал он, – можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество? («Опять, опять!» – подумал он про себя.)

– Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало и, кажется, мало любил и человечество, – тихо, сдержанно и совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам или даже со старшим летами человеком.

Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере и что он как будто именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение.

– А вы разве читали Вольтера? – заключил Алеша.

– Нет, не то чтобы читал… Я, впрочем, «Кандида» читал, в русском переводе… в старом, уродливом переводе, смешном… («Опять, опять!»)

– И поняли?

– О да, всё… то есть… почему же вы думаете, что я бы не понял? Там, конечно, много сальностей… Я, конечно, в состоянии понять, что это роман философский и написан, чтобы провести идею… – запутался уже совсем Коля. – Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист, – вдруг оборвал он ни с того ни с сего.

– Социалист? – засмеялся Алеша, – да когда это вы успели? Ведь вам еще только тринадцать лет, кажется?

Колю скрючило.

– Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать, – так и вспыхнул он, – а во-вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета? Дело в том, каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?

– Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите, – скромно и спокойно ответил Алеша.

– Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю, часто говорю с господином Ракитиным, но… Это еще старик Белинский, тоже, говорят, говорил.

– Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.

– Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного… впрочем…

– А Белинского вы читали?

– Видите ли… нет… я не совсем читал, но… место о Татьяне я читал. Впрочем, пожалуйста, не думайте, что я уж такой революционер. Я, например, считаю, что бежать в Америку из отечества – низость, хуже низости – глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной

деятельности. Так я и отвечал.

– Как отвечали? Кому? Разве вас кто-нибудь уже приглашал в Америку?

– Признаюсь, меня подбивали, но я отверг. Это, разумеется, между нами, Карамазов, слышите, никому ни слова. Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли вы, что я вам все наврал?

– Ох, нет, я не смеюсь и вовсе не думаю, что вы мне налгали. Вот то-то и есть, что этого не думаю, потому что все это, увы, сущая правда! Ну скажите, а Пушкина-то вы читали, «Онегина»-то… Вот вы сейчас говорили о Татьяне?

– Нет, еще не читал, но хочу прочесть. Я без предрассудков, Карамазов. Я хочу выслушать и ту и другую сторону. Зачем вы спросили?

– Так.

– Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете? – отрезал вдруг Коля и весь вытянулся пред Алешей, как бы став в позицию. – Сделайте одолжение, без обиняков.

– Презираю вас? – с удивлением посмотрел на него Алеша. – Да за что же? Мне только грустно, что прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором.

– Об моей натуре не заботьтесь, – не без самодовольства перебил Коля, – а что я мнителен, то это так. Глупо мнителен. Вы сейчас усмехнулись, мне и показалось, что вы как будто…

– Ах, я усмехнулся совсем другому. Видите, чему я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи: «Покажите вы, – он пишет, – русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною». Никаких знаний и беззаветное самомнение – вот что хотел сказать немец про русского школьника.

– Ах, да ведь это совершенно верно! – захохотал вдруг Коля, – верниссимо, точь-в-точь! Браво, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самомнение – это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами… Но все-таки немец хорошо сказал! Браво, немец! Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить…

– За что же душить-то? – улыбнулся Алеша.

– Ну я соврал, может быть, соглашаюсь. Я иногда ужасный ребенок, и когда рад чему, то не удерживаюсь и готов наврать вздору. Слушайте, мы с вами, однако же, здесь болтаем о пустяках, а этот доктор там что-то долго застрял. Впрочем, он, может, там и мамашу осмотрит и эту Ниночку безногую. Знаете, эта Ниночка мне понравилась. Она вдруг мне прошептала, когда я выходил: «Зачем вы не приходили раньше?» И таким голосом, с укором! Мне кажется, она ужасно добрая и жалкая.

– Да, да! Вот вы будете ходить, вы увидите, что это за существо. Вам очень полезно узнавать вот такие существа, чтоб уметь ценить и еще многое другое, что узнаете именно из знакомства с этими существами, – с жаром заметил Алеша. – Это лучше всего вас переделает.

– О, как я жалею и браню всего себя, что не приходил раньше! – с горьким чувством воскликнул Коля.

– Да, очень жаль. Вы видели сами, какое радостное вы произвели впечатление на бедного малютку! И как он убивался, вас ожидая!

– Не говорите мне! Вы меня растравляете. А впрочем, мне поделом: я не приходил из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов!

– Нет, вы прелестная натура, хотя и извращенная, и я слишком понимаю, почему вы могли иметь такое влияние на этого благородного и болезненно-восприимчивого мальчика! – горячо ответил Алеша.

– И это вы говорите мне! – вскричал Коля, – а я, представьте, я думал – я уже несколько раз, вот теперь, как я здесь, думал, что вы меня презираете! Если б вы только знали, как я

дорожу вашим мнением!

– Но неужели вы вправду так мнительны? В таких летах! Ну представьте же себе, я именно подумал там в комнате, глядя на вас, когда вы рассказывали, что вы должны быть очень мнительны.

– Уж и подумали? Какой, однако же, у вас глаз, видите, видите! Бьюсь об заклад, что это было на том месте, когда я про гуся рассказывал. Мне именно в этом месте вообразилось, что вы меня глубоко презираете за то, что я спешу выставиться молодцом, и я даже вдруг возненавидел вас за это и начал нести ахинею. Потом мне вообразилось (это уже сейчас, здесь) на том месте, когда я говорил: «Если бы не было Бога, то его надо выдумать», что я слишком тороплюсь выставить мое образование, тем более что эту фразу я в книге прочел. Но клянусь вам, что я торопился выставить не от тщеславия, а так, не знаю отчего, от радости, ей-богу как будто от радости… хотя это глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости. Я это знаю. Но я зато убежден теперь, что вы меня не презираете, а все это я сам выдумал. О Карамазов, я глубоко несчастен. Я воображаю иногда бог знает что, что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов тогда уничтожить весь порядок вещей.

– И мучаете окружающих, – улыбнулся Алеша.

– И мучаю окружающих, особенно мать. Карамазов, скажите, я очень теперь смешон?

– Да не думайте же про это, не думайте об том совсем! – воскликнул Алеша. – Да и что такое смешон? Мало ли сколько раз бывает или кажется смешным человек? Притом же нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это, хотя, впрочем, я давно уже замечаю это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился черт и залез во все поколение, именно черт, – прибавил Алеша, вовсе не усмехнувшись, как подумал было глядевший в упор на него Коля. – Вы, как и все, – заключил Алеша, – то есть как очень многие, только не надо быть таким, как все, вот что.

– Даже несмотря на то, что все такие?

– Да, несмотря на то, что все такие. Один вы и будьте не такой. Вы и в самом деле не такой, как все: вы вот теперь не постыдились же признаться в дурном и даже смешном. А нынче кто в этом сознается? Никто, да и потребность даже перестали находить в самоосуждении. Будьте же не такой, как все; хотя бы только вы один оставались не такой, а все-таки будьте не такой.

– Великолепно! Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. О, как я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встречи с вами! Неужели и вы обо мне тоже думали? Давеча вы говорили, что вы обо мне тоже думали?

– Да, я слышал об вас и об вас тоже думал… и если отчасти и самолюбие заставило вас теперь это спросить, то это ничего…

– А знаете, Карамазов, согласитесь, что и вам самим теперь немного со мною стыдно… Я вижу по глазам, – как-то хитро, но и с каким-то почти счастьем усмехнулся Коля.

– Чего же это стыдно?

– А зачем вы покраснели?

– Да это вы так сделали, что я покраснел! – засмеялся Алеша и действительно весь покраснел. – Ну да, немного стыдно, бог знает отчего, не знаю отчего… – бормотал он, почти даже сконфузившись.

– О, как я вас люблю и ценю в эту минуту, именно за то, что и вам чего-то стыдно со мной! Потому что и вы точно я! – в решительном восторге воскликнул Коля. Щеки его пылали, глаза блестели.

– Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни, – сказал вдруг отчего-то Алеша.

– Знаю, знаю. Как вы это все знаете наперед! – тотчас же подтвердил Коля.

– Но в целом все-таки благословите жизнь.

– Именно! Ура! Вы пророк! О, мы сойдемся, Карамазов. Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. А мы не ровня, нет, не ровня, вы выше! Но мы сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе: «Или мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, или с первого же разу разойдемся врагами до гроба!»

– И говоря так, уж конечно любили меня! – весело смеялся Алеша.

– Любил, ужасно любил, любил и мечтал об вас! И как это вы знаете все наперед? Ба, вот и доктор. Господи, что-то скажет, посмотрите, какое у него лицо!

Доктор выходил из избы опять уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он все боялся обо что-то запачкаться. Мельком окинул он глазами сени и при этом строго глянул на Алешу и Колю. Алеша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъехала к выходным дверям. Штабс-капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь пред ним, остановил его для последнего слова. Лицо бедняка было убитое, взгляд испуганный.

– Ваше превосходительство, ваше превосходительство… неужели?.. – начал было он и не договорил, а лишь всплеснул руками в отчаянии, хотя все еще с последнею мольбой смотря на доктора, точно в самом деле от теперешнего слова доктора мог измениться приговор над бедным мальчиком.

– Что делать! Я не Бог, – небрежным, хотя и привычно внушительным голосом ответил доктор.

– Доктор… Ваше превосходительство… и скоро это, скоро?

– При-го-товь-тесь ко всему, – отчеканил, ударяя по каждому слогу, доктор и, склонив взор, сам приготовился было шагнуть за порог к карете.

– Ваше превосходительство, ради Христа! – испуганно остановил его еще раз штабс-капитан, – ваше превосходительство!.. так разве ничего, неужели ничего, совсем ничего теперь не спасет?..

– Не от меня теперь за-ви-сит, – нетерпеливо проговорил доктор, – и, однако же, гм, – приостановился он вдруг, – если б вы, например, могли… на-пра-вить… вашего пациента… сейчас и нимало не медля (слова «сейчас и нимало не медля» доктор произнес не то что строго, а почти гневно, так что штабс-капитан даже вздрогнул) в Си-ра-ку-зы, то… вследствие новых бла-го-при-ят-ных кли-ма-ти-ческих условий… могло бы, может быть, про-и-зойти…

– В Сиракузы! – вскричал штабс-капитан, как бы ничего еще не понимая.

– Сиракузы – это в Сицилии, – отрезал вдруг громко Коля, для пояснения. Доктор поглядел на него.

– В Сицилию! Батюшка, ваше превосходительство, – потерялся штабс-капитан, – да ведь вы видели! – обвел он обеими руками кругом, указывая на свою обстановку, – а маменька-то, а семейство-то?

– Н-нет, семейство не в Сицилию, а семейство ваше на Кавказ, раннею весной… дочь вашу на Кавказ, а супругу… продержав курс вод тоже на Кав-ка-зе ввиду ее ревматизмов… немедленно, после того на-пра-вить в Париж, в лечебницу доктора пси-хи-атра Ле-пель-летье, я бы мог вам дать к нему записку, и тогда… могло бы, может быть, произойти…

– Доктор, доктор! Да ведь вы видите! – размахнул вдруг опять руками штабс-капитан, указывая в отчаянии на голые бревенчатые стены сеней.

– А, это уж не мое дело, – усмехнулся доктор, – я лишь сказал то, что могла сказать наука на ваш вопрос о последних средствах, а остальное… к сожалению моему…

– Не беспокойтесь, лекарь, моя собака вас не укусит, – громко отрезал Коля, заметив несколько беспокойный взгляд доктора на Перезвона, ставшего на пороге. Гневная нотка прозвенела в голосе Коли. Слово же «лекарь», вместо доктор, он сказал *нарочно* и, как сам объявил потом, «для оскорбления сказал».

– Что так-кое-е? – вскинул головой доктор, удивленно уставившись на Колю. – Ка-кой это? – обратился он вдруг к Алеше, будто спрашивал у того отчета.

– Это хозяин Перезвона, лекарь, не беспокойтесь о моей личности, – отчеканил опять Коля.

– Звон? – переговорил доктор, не поняв, что такое Перезвон.

– Да не знает, где он. Прощайте, лекарь, увидимся в Сиракузах.

– Кто эт-то? Кто, кто? – вдруг закипятился ужасно доктор.

– Это здешний школьник, доктор, он шалун, не обращайте внимания, – нахмурившись и скороговоркой проговорил Алеша. – Коля, молчите! – крикнул он Красоткину. – Не надо обращать внимания, доктор, – повторил он уже несколько нетерпеливее.

– Выс-сечь, выс-сечь надо, выс-сечь! – затопал было ногами слишком уже почему-то взбесившийся доктор.

– А знаете, лекарь, ведь Перезвон-то у меня пожалуй что и кусается! – проговорил Коля задрожавшим голоском, побледнев и сверкнув глазами. – Иси, Перезвон!

– Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я с вами разорву навеки! – властно крикнул Алеша.

– Лекарь, есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину, это вот этот человек, – Коля указал на Алешу, – ему повинуюсь, прощайте!

Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошел в комнату. Перезвон бросился за ним. Доктор постоял было еще секунд пять как бы в столбняке, смотря на Алешу, потом вдруг плюнул и быстро пошел к карете, громко повторяя: «Этта, этта, этта, я не знаю, что этта!» Штабс-капитан бросился его подсаживать. Алеша прошел в комнату вслед за Колей. Тот стоял уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и звал папу. Через минуту воротился и штабс-капитан.

– Папа, папа, поди сюда… мы… – пролепетал было Илюша в чрезвычайном возбуждении, но, видимо не в силах продолжать, вдруг бросил свои обе исхудалые ручки вперед и крепко, как только мог, обнял их обоих разом, и Колю и папу, соединив их в одно объятие и сам к ним прижавшись. Штабс-капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных рыданий, а у Коли задрожали губы и подбородок.

– Папа, папа! Как мне жалко тебя, папа! – горько простонал Илюша.

– Илюшечка… голубчик… доктор сказал… будешь здоров… будем счастливы… доктор… – заговорил было штабс-капитан.

– Ах, папа! Я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня сказал… Я ведь видел! – воскликнул Илюша и опять крепко, изо всей силы прижал их обоих к себе, спрятав на плече у папы свое лицо.

– Папа, не плачь… а как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого… сам выбери из них из всех, хорошего, назови его Илюшей и люби его вместо меня…

– Молчи, старик, – выздоровеешь! – точно осердившись, крикнул вдруг Красоткин.

– А меня, папа, меня не забывай никогда, – продолжал Илюша, – ходи ко мне на могилку… да вот что, папа, похорони ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткиным, вечером… И Перезвон… А я буду вас ждать… Папа, папа!

Его голос пресекся, все трое стояли обнявшись и уже молчали. Плакала тихо на своем кресле и Ниночка, и вдруг, увидав всех плачущими, залилась слезами и «мамаша»…

– Илюшечка! Илюшечка! – восклицала она.

Красоткин вдруг высвободился из объятий Илюши.

– Прощай, старик, меня ждет мать к обеду, – проговорил он скороговоркой. – Как жаль, что я ее не предуведомил. Очень будет беспокоиться… Но после обеда я тотчас к тебе, на весь день, на весь вечер, и столько тебе расскажу, столько расскажу! И Перезвона приведу, а теперь с собой уведу, потому что он без меня выть начнет и тебе мешать будет: до свиданья!

И он выбежал в сени. Ему не хотелось расплакаться, но в сенях он таки заплакал. В этом состоянии нашел его Алеша.

– Коля, вы должны непременно сдержать слово и прийти, а то он будет в страшном горе, – настойчиво проговорил Алеша.

– Непременно! О, как я кляну себя, что не приходил раньше, – плача и уже не конфузясь, что плачет, пробормотал Коля. В эту минуту вдруг словно выскочил из комнаты штабс-капитан и тотчас затворил за собою дверь. Лицо его было исступленное, губы дрожали. Он стал пред обоими молодыми людьми и вскинул вверх обе руки.

– Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика! – прошептал он диким шепотом, скрежеща зубами. – «Аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет…»

Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бессилии пред деревянною лавкой на колени. Стиснув обоими кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвизгивая, изо всей силы крепясь, однако, чтобы не услышали его взвизгов в избе. Коля выскочил на улицу.

– Прощайте, Карамазов! Сами-то придете? – резко и сердито крикнул он Алеше.

– Вечером непременно буду.

– Что он это такое про Иерусалим… это что еще такое?

– Это из Библии: «Аще забуду тебе, Иерусалиме», то есть если забуду все, что есть у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит…

– Понимаю, довольно! Сами-то приходите! Иси, Перезвон! – совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими, скорыми шагами зашагал домой.

7. Проводы

…Алеша еще у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшиных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он наконец пришел. Всех их собралось человек двенадцать, все пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. «Папа плакать будет, будьте с папой», – завещал им Илюша, умирая, и мальчики это запомнили. Во главе их был Коля Красоткин.

– Как я рад, что вы пришли, Карамазов! – воскликнул он, протягивая Алеше руку. – Здесь ужасно. Право, тяжело смотреть. Снегирев не пьян, мы знаем наверно, что он ничего сегодня не пил, а как будто пьян… Я тверд всегда, но это ужасно. Карамазов, если не задержу вас, один бы только еще вопрос, прежде чем вы войдете?

– Что такое, Коля? – приостановился Алеша.

– Невинен ваш брат или виновен?.. Как скажете, так и будет. Я четыре ночи не спал от этой идеи…

– Брат невинен, – ответил Алеша.

– И я то же говорю! – прокричал вдруг мальчик Смуров.

– Итак, он погибнет невинною жертвой за правду! – воскликнул Коля. – О, если б и я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду, – с энтузиазмом проговорил Коля.

– И я тоже! – вдруг и уже совсем неожиданно выкрикнул из толпы тот самый мальчик, который когда-то объявил, что знает, кто основал Трою, и, крикнув, точно так же, как и тогда, весь покраснел до ушей, как пион.

Алеша вошел в комнату. В голубом, убранном белым рюшем гробе лежал, сложив ручки и закрыв глазки, Илюша. Черты исхудалого лица его совсем почти не изменились… Выражение лица было серьезное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему вложили цветов, да и весь гроб был уже убран снаружи и снутри цветами…

Когда Алеша отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих руках своих обсыпал ими снова своего дорогого мальчика. Он едва взглянул на вошедшего Алешу, да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую, помешанную жену свою, свою «мамочку», которая все старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на своего мертвого мальчика. Ниночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплоть к гробу. Она сидела, прижавшись к нему своею головой, и тоже, должно быть, тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид оживленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточенный. В жестах его, в вырывавшихся словах его было что-то полоумное. «Батюшка, милый батюшка!» – восклицал он поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша был в живых, говорить ему ласкаючи: «Батюшка, милый батюшка!»

– Папочка, дай и мне цветочков, возьми из его ручки, вот этот беленький, и дай! – всхлипывая попросила помешанная «мамочка». Или уж ей так понравилась маленькая беленькая роза, бывшая в руках Илюши, или то, что она из его рук захотела взять цветок на память, она вся так и заметалась, протягивая за цветком руки.

– Никому не дам, ничего не дам! – жестокосердно воскликнул Снегирев. – Его цветочки, а не твои. Все его, ничего твоего!

– Папа, дайте маме цветок! – подняла вдруг свое смоченное слезами лицо Ниночка.

– Ничего не дам, а ей пуще не дам! Она его не любила. Она у него тогда пушечку отняла, а он ей по-да-рил, – вдруг в голос прорыдал штабс-капитан при воспоминании о том, как Илюша уступил тогда свою пушечку маме. Бедная помешанная так и залилась вся тихим

плачем, закрыв лицо руками. Мальчики, видя наконец, что отец не выпускает гроб от себя, а между тем пора нести, вдруг обступили гроб тесною кучкой и стали его подымать.

– Не хочу в ограде хоронить! – возопил вдруг Снегирев, – у камня похороню, у нашего камушка! Так Илюша велел. Не дам нести!

Он и прежде, все три дня говорил, что похоронит у камня; но вступились Алеша, Красоткин, квартирная хозяйка, сестра ее, все мальчики.

– Вишь, что выдумал, у камня поганого хоронить, точно бы удавленника, – строго проговорила старуха хозяйка. – Там в ограде земля со крестом. Там по нем молиться будут. Из церкви пение слышно, а дьякон так чисторечиво и словесно читает, что все до него кажный раз долетит, точно бы над могилкой его читали.

Штабс-капитан замахал наконец руками: «Несите, дескать, куда хотите!» Дети подняли гроб, но, пронося мимо матери, остановились пред ней на минутку и опустили его, чтоб она могла с Илюшей проститься. Но увидав вдруг это дорогое личико вблизи, на которое все три дня смотрела лишь с некоторого расстояния, она вдруг вся затряслась и начала истерически дергать над гробом своею седою головой взад и вперед.

– Мама, окрести его, благослови его, поцелуй его, – прокричала ей Ниночка. Но та, как автомат, все дергалась своею головой и безмолвно, с искривленным от жгучего горя лицом, вдруг стала бить себя кулаком в грудь. Гроб понесли дальше. Ниночка в последний раз прильнула к устам покойного брата, когда проносили мимо нее. Алеша, выходя из дому, обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть за оставшимися, но та и договорить не дала:

– Знамо дело, при них буду, христиане и мы тоже. – Старуха, говоря это, плакала.

Нести до церкви было недалеко, шагов триста, не более. День стал ясный, тихий; морозило, но немного. Благовестный звон[51] еще раздавался. Снегирев суетливо и растерянно бежал за гробом в своем стареньком, коротеньком, почти летнем пальтишке, с непокрытою головой и с старою, широкополою, мягкою шляпой в руках. Он был в какой-то неразрешимой заботе, то вдруг протягивал руку, чтоб поддержать изголовье гроба, и только мешал несущим, то забегал сбоку и искал, где бы хоть тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросился подымать его, как будто от потери этого цветка бог знает что зависело.

– А корочку-то, корочку-то забыли, – вдруг воскликнул он в страшном испуге. Но мальчики тотчас напомнили ему, что корочку хлебца он уже захватил еще давеча и что она у него в кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверившись, успокоился.

– Илюшечка велел, Илюшечка, – пояснил он тотчас Алеше, – лежал он ночью, а я подле сидел, и вдруг приказал: «Папочка, когда засыплют мою могилку, покроши на ней корочку хлебца, чтоб воробушки прилетали, я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу».

– Это очень хорошо, – сказал Алеша, – надо чаще носить.

– Каждый день, каждый день! – залепетал штабс-капитан, как бы весь оживившись.

---

51 *Бла́говестный звон* – звон церковных колоколов, призывающих в церковь на молитву или возвещающих о церковной службе.

Прибыли наконец в церковь и поставили посреди ее гроб. Все мальчики обступили его кругом и чинно простояли так всю службу. Церковь была древняя и довольно бедная, много икон стояло совсем без окладов, но в таких церквах как-то лучше молишься. За обедней Снегирев как бы несколько попритих, хотя временами все-таки прорывалась в нем та же бессознательная и как бы сбитая с толку озабоченность: то он подходил к гробу оправлять покров, венчик, то, когда упала одна свечка из подсвечника, вдруг бросился вставлять ее и ужасно долго с ней провозился. Затем уже успокоился и стал смирно у изголовья с тупо-озабоченным и как бы недоумевающим лицом. После апостола[52] он вдруг шепнул стоявшему подле его Алеше, что апостола *не так* прочитали, но мысли своей, однако, не разъяснил. За Херувимской[53] принялся было подпевать, но не докончил и, опустившись на колена, прильнул лбом к каменному церковному полу и пролежал так довольно долго. Наконец приступили к отпеванию, роздали свечи. Обезумевший отец засуетился было опять, но умилительное, потрясающее надгробное пение пробудило и сотрясло его душу. Он как-то вдруг весь съежился и начал часто, укороченно рыдать, сначала тая голос, а под конец громко всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гроб, он обхватил его руками, как бы не давая накрыть Илюшечку, и начал часто, жадно, не отрываясь целовать в уста своего мертвого мальчика. Его наконец уговорили и уже свели было со ступеньки, но он вдруг стремительно протянул руку и захватил из гробика несколько цветков. Он смотрел на них, и как бы новая какая идея осенила его, так что о главном он словно забыл на минуту. Мало-помалу он как бы впал в задумчивость и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гроб к могилке. Она была недалеко, в ограде, у самой церкви, дорогая; заплатила за нее Катерина Ивановна. После обычного обряда могильщики гроб опустили. Снегирев до того нагнулся, с своими цветочками в руках, над открытою могилой, что мальчики в испуге уцепились за его пальто и стали тянуть его назад. Но он как бы уже не понимал хорошо, что совершается. Когда стали засыпать могилу, он вдруг озабоченно стал указывать на валившуюся землю и начинал даже что-то говорить, но разобрать никто ничего не мог, да и он сам вдруг утих. Тут напомнили ему, что надо покрошить корочку, и он ужасно заволновался, выхватил корку и начал щипать ее, разбрасывая по могилке кусочки: «Вот и прилетайте, птички, вот и прилетайте, воробушки!» – бормотал он озабоченно. Кто-то из мальчиков заметил было ему, что с цветами в руках неловко ему щипать и чтоб он на время дал их кому подержать. Но он не дал, даже вдруг испугался за свои цветы, точно их хотели у него совсем отнять, и, поглядев на могилку и как бы удостоверившись, что все уже сделано, кусочки покрошены, вдруг неожиданно и совсем даже спокойно повернулся и побрел домой. Шаг его, однако, становился все чаще и утороплеснее, он спешил, чуть не бежал. Мальчики и Алеша от него не отставали.

– Мамочке цветочков, мамочке цветочков! Обидели мамочку, – начал он вдруг восклицать. Кто-то крикнул ему, чтоб он надел шляпу, а то теперь холодно, но, услышав, он как бы в злобе шваркнул шляпу на снег и стал приговаривать: «Не хочу шляпу, не хочу шляпу!» Мальчик Смуров поднял ее и понес за ним. Все мальчики до единого плакали, а пуще всех Коля и мальчик, открывший Трою, и хоть Смуров, с капитанскою шляпой в руках, тоже ужасно как плакал, но успел-таки, чуть не на бегу, захватить обломок кирпичика, красневший на снегу дорожки, чтоб метнуть им в быстро пролетевшую стаю воробушков. Конечно, не попал и продолжал бежать плача. На половине дороги Снегирев внезапно остановился, постоял с полминуты как бы чем-то пораженный и вдруг, поворотив назад к церкви, пустился бегом к оставленной могилке. Но мальчики мигом догнали его и уцепились за него со всех сторон. Тут он, как в бессилии, как сраженный, пал на снег и, биясь, вопия и рыдая, начал выкрикивать: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка!» Алеша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать.

---

52 *Апóстолы* – ученики Иисуса Христа, распространявшие Его учение; здесь: соответствующие данному дню строки из Деяний или Посланий святых апостолов (входящих в Евангелие), которые читаются вслух во время службы в церкви.

53 *Херувúмская* песнь – одно из песнопений во время литургии, церковной службы.

– Капитан, полноте, мужественный человек обязан переносить, – бормотал Коля.

– Цветы-то вы испортите, – проговорил и Алеша, – а мамочка ждет их, она сидит – плачет, что вы давеча ей не дали цветов от Илюшечки. Там постелька Илюшина еще лежит…

– Да, да, к мамочке! – вспомнил вдруг опять Снегирев. – Постельку уберут, уберут! – прибавил он как бы в испуге, что и в самом деле уберут, вскочил и опять побежал домой. Но было уже недалеко, и все прибежали вместе. Снегирев стремительно отворил дверь и завопил жене, с которою давеча так жестокосердно поссорился.

– Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал, ножки твои больные! – прокричал он, протягивая ей пучочек цветов, померзших и поломанных, когда он бился сейчас об снег. Но в это самое мгновение увидел он перед постелькой Илюши, в уголку, Илюшины сапожки, стоявшие оба рядышком, только что прибранные хозяйкой квартиры, – старенькие, порыжевшие, закорузлые сапожки, с заплатками. Увидав их, он поднял руки и так и бросился к ним, пал на колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его, выкрикивая: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои где?»

– Куда ты его унес? Куда ты его унес? – раздирающим голосом завопила помешанная. Тут уж зарыдала и Ниночка. Коля выбежал из комнаты, за ним стали выходить и мальчики. Вышел наконец за ними и Алеша. «Пусть переплачут, – сказал он Коле, – тут уж, конечно, нельзя утешать. Переждем минутку и воротимся».

– Да, нельзя, это ужасно, – подтвердил Коля. – Знаете, Карамазов, – понизил он вдруг голос, чтоб никто не услышал, – мне очень грустно, и если б только можно было его воскресить, то я бы отдал все на свете!

– Ах, и я тоже, – сказал Алеша.

– Как вы думаете, Карамазов, приходить нам сюда сегодня вечером? Ведь он напьется.

– Может быть, и напьется. Придем мы с вами только вдвоем, вот и довольно, чтоб посидеть с ними часок, с матерью и с Ниночкой, а если все придем разом, то им опять все напомним, – посоветовал Алеша.

– Там у них теперь хозяйка стол накрывает, – эти поминки, что ли, будут, поп придет; возвращаться нам сейчас туда, Карамазов, иль нет?

– Непременно, – сказал Алеша.

– Странно все это, Карамазов, такое горе, и вдруг какие-то блины, как это все неестественно по нашей религии!

– У них там и семга будет, – громко заметил вдруг мальчик, открывший Трою.

– Я вас серьезно прошу, Карташов, не вмешиваться более с вашими глупостями, особенно когда с вами не говорят и не хотят даже знать, есть ли вы на свете, – раздражительно отрезал в его сторону Коля. Мальчик так и вспыхнул, но ответить ничего не осмелился. Между тем все тихонько брели по тропинке, и вдруг Смуров воскликнул:

– Вот Илюшин камень, под которым его хотели похоронить!

Все молча остановились у большого камня. Алеша посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал когда-то об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: «Папочка, папочка, как он унизил тебя!» – разом представилась его воспоминанию. Что-то как бы сотряслось в его душе. Он с серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые, светлые лица школьников, Илюшиных товарищей, и вдруг сказал им:

– Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово.

Мальчики обступили его и тотчас устремили на него пристальные, ожидающие взгляды.

– Господа, мы скоро расстанемся… Скоро я здешний город покину, может быть очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа. Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать – во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом не встречались, – все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде бросали камни, помните, там у мостика-то? – а потом так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье, – все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим

и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои, – дайте я вас так назову – голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек, теперь, в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые, милые лица, – милые мои деточки, может быть, вы не поймете, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, над слезами человеческими будем смеяться и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу пострадать за всех людей», – и над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!»

– Это непременно так будет, Карамазов, я вас понимаю, Карамазов! – воскликнул, сверкнув глазами, Коля. Мальчики заволновались и тоже хотели что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умиленно смотря на оратора.

– Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся, – продолжал Алеша, – но зачем нам и делаться дурными, не правда ли, господа? Будем, во-первых и прежде всего, добры, потом честны, а потом – не будем никогда забывать друг об друге. Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчас, смотрит, припомню, хоть бы и чрез тридцать лет. Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим знать, «есть он или нет на свете?». Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете и что вот он не краснеет уж теперь, как тогда, когда Трою открыл, а смотрит на меня своими славными, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы, как Илюшечка, умны, смелы и великодушны, как Коля (но который будет гораздо умнее, когда подрастет), и будем такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, как Карташов. Да чего я говорю про них обоих! Все вы, господа, милы мне отныне, всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце! Ну, а кто нас соединил в этом добром хорошем чувстве, об котором мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем и вспоминать намерены, кто, как не Илюшечка, добрый мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик на веки веков! Не забудем же его никогда, вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отныне и во веки веков!

– Так, так, вечная, вечная, – прокричали все мальчики своими звонкими голосами, с умиленными лицами.

– Будем помнить и лицо его, и платье его, бедненькие сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о том, как он смело один восстал на весь класс за него!

– Будем, будем помнить! – прокричали опять мальчики, – он был храбрый, он был добрый!

– Ах, как я любил его! – воскликнул Коля.

– Ах, деточки, ах, милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!

– Да, да, – восторженно повторили мальчики.

– Карамазов, мы вас любим! – воскликнул неудержимо один голос, кажется Карташова.

– Мы вас любим, мы вас любим, – подхватили и все. У многих сверкали на глазах слезинки.

– Ура Карамазову! – восторженно провозгласил Коля.

– И вечная память мертвому мальчику! – с чувством прибавил опять Алеша.

– Вечная память! – подхватили снова мальчики.

– Карамазов! – крикнул Коля, – неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?

– Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было, – полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.

– Ах, как это будет хорошо! – вырвалось у Коли.

– Ну, а теперь кончим речи и пойдемте на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее, – засмеялся Алеша. – Ну пойдемте же! Вот мы теперь и идем рука в руку.

– И вечно так, всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову! – еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз все мальчики подхватили его восклицание.

Комментарии

<Записки Вареньки Доброселовой>[54]

Отрывок из романа «Бедные люди» – первого опубликованного произведения Ф. М. Достоевского («Петербургский сборник», СПб., 1846). Роман состоит из писем, которыми обмениваются Варенька и Макар Девушкин. Вместе с одним из писем Варенька посылает Девушкину тетрадь с записками-воспоминаниями о своем детстве и начале жизни в Петербурге, эти записки и выбраны для нашей книги.

<Неточка и Катя>

Отрывок из незаконченного романа «Неточка Незванова», впоследствии превращенного Достоевским в повесть. «Неточка Незванова» создавалась в 1846–1849 гг., первые три части романа были напечатаны в 1849 г. в петербургском журнале «Отечественные записки». Арест в апреле 1849 г. и последующие годы каторги и жизни в Сибири прервали работу Достоевского над этим произведением. Вернувшись из Сибири, писатель не стал заканчивать роман, а, немного доработав текст, напечатал три готовые части в виде повести в первом томе своего собрания сочинений в 1860 г.

<Рассказ Нелли>

Отрывок из романа «Униженные и оскорбленные», который был написан в 1860–1861 гг., впервые напечатан в журнале «Время», издававшемся Достоевским вместе с братом Михаилом, и затем, в том же году, отдельным изданием. Рассказ девочки-сиротки Нелли о своем дедушке и смерти матери происходит уже в самом конце романа, перед эпилогом.

<Мальчик у Христа на елке>

Рассказ из январского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г.

---

[54] В угловых скобках отмечены заглавия отрывков, отсутствующие у Достоевского и данные составителями настоящего сборника.

<Мужик Марей>

Часть третья (в сокращении) из первой главы февральского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г.

<В барском пансионе>

Отрывок из девятой главы второй части романа «Подросток». Роман создавался в 1874–1875 гг., впервые опубликован в петербургском журнале «Отечественные записки» (издаваемом Н. А. Некрасовым) в 1875 г., отдельным изданием – в 1876 г. в Санкт-Петербурге.

<Илюшечка>

Из романа «Братья Карамазовы». Глава 1 <Школьники> представляет собой – в сокращении – главу III «Связался со школьниками», главу IV «У Хохлаковых» и главу V «Надрыв в гостиной» из четвертой книги романа; глава 2 <В семействе штабс-капитана Снегирева> – главу VI «Надрыв в избе» и главу VII «И на чистом воздухе» из той же книги. Глава 3 <Коля Красоткин> – главы I, II и III из десятой книги под названием «Мальчики» (с небольшими сокращениями), главы 4 «Жучка» и 5 «У Илюшиной постельки» соответствуют одноименным главам из той же десятой книги, глава 6 <Доктор> – глава VI «Раннее развитие» и глава VII «Илюша» той же книги. Последняя глава 7 <Проводы> – глава III «Похороны Илюшечки. Речь у камня» – последняя глава из Эпилога романа.

Роман «Братья Карамазовы» написан в 1878–1880 гг., впервые опубликован в журнале «Русский вестник» в 1879–1880 гг.

К. Степанян